

Б. СОЛОНЕВИЧ

ЖЕНЩИНА С ВИНТОВКОЙ

Роман БОРИСА СОЛОНЕВИЧА

«ТАЙНА СОЛОВКОВ»

на немецком языке
находится в печати.

Превосходный перевод романа выполнен группой русской молодежи в Берлине.

Он же (как и «Рука Адмирала») переведен и принят к изданию на голландском языке в издательстве „Volk en Staat", Антверпен.

Готов к печати и, при первой же возможности, выйдет в свет новый большой роман того же автора

«СТАКАН ВОДЫ»

Это роман не о необычайных приключениях и не о «сверхчеловеках». Это простой живой рассказ об обыкновенной жизни рабочей провинциальной молодежи — той, про которую поется в одной из современных песенок:

«А мы — простые русские ребята,
И любим родину свою»...

В романе обрисовывается быт, работа, моральные установки, военно-спортивная подготовка и учеба нескольких типичных единиц из тех миллионов, которые составляют

НОВУЮ МОЛОДУЮ РОССИЮ.

Основной стержень романа — крушение знаменитой «теории стакана воды», комсомольской «любви без черемухи» — такой же упрощенной, как «биологическая потребность выпить стакан воды». Роман рисует жизнь русской молодежи в ее критический переломный период изменения моральных установок в сексуальной и семейной жизни.

Как все книги Бориса Солоневича, новый роман полон характерными картинками из жизни, написан своеобразным языком и читается с неосла-

Дорогому Крею!
Юрию де Росси —
верному другу
с сердечным приветом
от автора
[illegible]

Бельгия, 1953

БОРИС СОЛОНЕВИЧ

ЖЕНЩИНА С ВИНТОВКОЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

БУЭНОС-АЙРЕС

1955

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПОРУЧИКА КРЫЛОВОЙ

Нет, право же, странные существа, эти мужчины! Им вот все — вынь, да положь. Это как маленький Горя, — глядя на луну: «Дай мне, мамочка, этот фонарик с неба». Разве девочка могла бы такое сказать?.. Дай, да дай. А как — это мужчин не касается...

Пристали ко мне Жора и Горя, как с ножом к горлу — напиши, да напиши свои воспоминания. Ты, говорят, одна из последних оставшихся в живых офицеров женского батальона. Ты обязана перед Россией (слова то какие нашли! Ах, эти уж мне мужчины!) оставить для русской молодежи память о героической попытке женщин в трудное время взять винтовку и показать мужчинам пример защиты своей Родины»...

Говорят — и не без резона — что женщина никогда долго не может противиться просьбам любимого. А на меня тут насели сразу двое мужчин и — положение создалось безвыходное — оба любимых: мой муж — Жора и сынишка Горя. (Они оба — Георгии и получили разные домашние имена «для отлички», как говорит сынишка. Вы, кстати, не думайте, он у меня настоящий мужчина, правда, не годами — ему только минуло 15 лет, но зато меня уже перерос на целую голову).

Да так вот — «напиши, да напиши»...

— Я ведь не умею, защищалась я. Это ведь не шутка: целую книгу написать.

— Ничего. Мы тебе сообща поможем. «Миром»... А потом попросим кого нибудь понимающего поправить.

— Да я уже все забыла. Ведь прошло уже почти 30 лет. И каких лет!..

Ерунда это! Такие впечатления не забываются. Только сядь за бумагу — все вспомнится. И назови — «Записки женщины-офицера».

А тут Горенька просунул свою черепушку под руку (это его любимая штучка, если нужно и к мамочке подластиться) и этак умильно просит-ноет.

— Напи-и-иши, мамочка!.. А то мне, право, неловко: товарищи в школе задравнили — «сын двух офицеров». А тут я им в зубы твою книгу и суну: читайте, мои, черти иностранные! Вуаля!

А и действительно с Горей недавно в школе приключилась смешная история. Нужно было зачем то указать, кто такие родители. Он и ответил: отец — русский офицер. А мать? — «Тоже русский офицер»... Ему бы сказать — сестра милосердия — моя теперешняя специальность, а он... Ну, в школе так и вскинулись: «Как это так — мать офицер?» А очень даже просто — она поручик Российской Армии, ранена в боях с бошами, имеет высший орден св. Георгия Победоносца»...

Ну, конечно, все потом объяснилось, но с тех пор Горю так и не перестают дразнить в школе — «сын двух офицеров». Вот почему он так сильно и просит.

— Но, какие вы, право, смешные! «Напиши, да напиши». Это ведь не письмо простое.

— А ты и пиши по просту, как вспоминается: без всяких фокусов.

— Да с чего я начну?

А Горенька уже почувствовал, что мамочка сдается и лукаво смеется.

— А ты начни, мамулечка, с самого что ни есть с начала. Вот, например, сколько немцев и большевиков ты убила своей собственной рукой?.. И как ты сражалась?

Милый мой дурашка! Да разве такие ощущения могут быть переданы на бумаге? Как можно передать впечатления 18-летней девушки, впервые попавшей в боевой огонь?..

— А ты пиши так, как нам рассказывала у камина...

Конечно, никакого камина у нас нет. Так Горя поэтично зовет нашу маленькую печку, около которой в осенние и зимние вечера мы усаживались и рассказывали друг другу, что вспомнится из прошлого.

Жора тоже смеется, предчувствуя мужскую победу.

— Да, раскачайся, Ниночка. Все что напишешь — будем давать на проверку Горе: если его захватит — значит, хорошо. Если нет — будем вместе переделывать. А потом и писателя для шлифовки найдем...

..Ну, что тут было делать? Ведь знаю мужчин — они не отстанут, пока не получат, чего им хочется. Такая уж наша бабья доля — всегда уступать мужскому напору... Пришлось сдаться...

Но когда я стала перебирать, перечитывать свои записи и дневники того времени, когда я стала вспоминать пережитое тогда — прошлое снова захватило меня. И снова пережила я яркие, напряженные, солнечные и кровавые дни лета 1917 года. И гордое чувство за Русскую Женщину опять поднялось в моей душе. Нет, правы Жора и Горя — нужно, чтобы русская молодежь прочла простые воспоминания участницы этого беспримерного подвига — когда миллионы мужчин, усталые, изверившиеся, зараженные ядом большевизма, заколебались на фронте — нашлись сотни молодых женщин, бесстрашно пошедших на смерть за свою Родину.

Я нисколько не жалею о том, что тогда пошла на фронт, хотя наша кровь не спасла в то время России. Но слияние нашего женского подвига останется навсегда в истории России. И частичка моего безсмертного «Я» останется не только в моем сыне, но и в памяти, в славе моей Родины.

Нина Крылова,

поручик Российокой Армии, Кавалер Ордена св. Великомученика Георгия Победоносца.

«Лучшее достояние России — это русская женщина.» Максим Ковалевский (знаменитый русский ученый и мыслитель).

НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБЪЯСНЕНИЙ АВТОРА

Должен признаться честно — мне было очень трудно помочь Крыловой «создать» эту книгу — среднее между романом и документом. Еще труднее было сохранить в старых записях и рассказах аромат и очарование переживаний молодой девушки, в пылу боевого опьянения вонзавшей штык в тело врага, а того периода. Да и как можно передать чувства молодой девушки, в пылу боевого опьянения вонзавшей штык в тело врага, а потом трясшейся в рыданиях в уголке окопа с побледневшим лицом и безумными глазами?

Но работал я над приведением в литературную форму этих записей, дополнительных данных и рассказов с громадным увлечением. Не знаю, прав ли был «Таймс», назвавший женский баталион «величайшим явлением в истории женщин со времен Жанны д'Арк». Не нам, русским, об этом судить. Но и в самом деле, где в истории мира было, чтобы баталион женщин выдержав с честью несколько больших боев с таким противником, как германские войска, отбив в течении 4 суток 10 атак, ответив 11-ю контр-атаками, прорвав 4 линии германской обороны, захватив около 200 пленных (мужчин!), оставил в братских могилах и госпиталях почти половину своих бойцов?

Мужчины описывали свои боевые переживания много раз. Но как может описать их женщина-солдат, после месяца подготовки брошенная в бой с искусным и жестоким врагом?

Но все же в воспоминаниях Крыловой есть, много того, чего мы, мужчины, не знаем и не подозреваем. Я не старался этого объяснить, а только передать честно и как можно более точно, сознавая, что именно в этом мой долг писателя, гордящегося тем, что именно в России был такой блестящий, неповторимый в истории мира случай, когда женщина с винтовкой в руке героически сражалась за честь своей Родины.

Борис Солоневич

Брюссель 1946 г.

(Закончено в тюрме Сан Жиль под угрозой высылки в СССР по требованию Советов, как «военного преступника»).

*

Документальная сторона романа сверена и дополнена по рассказам и материалам поручика Магдалины Скрыдловой (Вальтер), б. адъютанта «Женского Баталиона Смерти»; протопресвитера о. Александра Шабашева, бывшего свидетелем боев батальона; по книге «Яшка» капитана Марии Бочкаревой, командира батальона, по «Архиву Русской Революции», и живым рассказам русских офицеров, знавших жизнь и бои батальона.

ГЛАВА 1

ГЕНИЙ-РАЗРУШИТЕЛЬ

— «Товарищи! Вам вот твердят — «защищайте свою родину, убивайте врага, подчиняйтесь офицерам». А я вам говорю: Родина эта выдумка буржуазии для околпачивания трудящихся. Честный рабочий не имеет отечества. Его родина — это интернациональная семья мирового пролетариата, стремящегося освободиться от цепей капитализма. Братайтесь с немцами — они такие же рабочие и кре тьяне, как и вы. Цели империалистической бойни им так же чужды, как и вам. Не слушайтесь своих офицеров, слуг царского режима и буржуазии. Бросайте фронт и идите к себе делить землю и имущество помещиков»!...

... Резкие слова падали, как камни в воду, вздымая хаотические брызги недоуменных мыслей. Я, откровенно говоря, была прямо ошеломлена ими. Все было так необычайно: на серой башне броневика стоял небольшой человечек в штатском костюме, толстенький, лысоватый, с обыкновенной бородкой клинушком и, размахивая смятой кепкой, бросал в толпу необычайные зажигательные слова.

Мне сперва все это показалось шуткой, каким то театральным представлением: эта громадная толпа перед Финляндским вокзалом, алые знамена, плакаты:

«Да здравствуют Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов»,

«Долой министров-капиталистов»,

«Мир без анексий и контрибуций»,

Рев оркестров, восторженные лица, серый броневик со смешной фигуркой наверху. Но потом я заметила с какой необычайной жадностью прислушиваются к его словам сотни напряженных лиц рабочих и солдат и поняла, что тут ЧТО-ТО есть.

Я помню — был первый настоящий солнечный весенний день. Снег еще сиял на крышах и в парках, но на петербургских улицах было уже грязное коричневое месиво.

Мы с Лидой, моей сестрой, которая приехала с фронта в отпуск, долго гуляли по Стрелке, и она рассказывала мне свои переживания сестры милосердия. Хотя рассказы ея были довольно мрачны но весеннее солнышко как то заставляло забывать смысл ее слов. Пусть кончался третий год тяжелой войны, пусть страна начинала лихорадить в первых приступах странной болезни — революции, пусть все были словно помешанными, потерявшими какой-то ориентир в жизни, но солнце пронизывало всех и все своей радостью, теплом, сиянием. Ну и, конечно, нужно еще добавить, что мне в то время не было еще 18 лет и жизнь представлялась мне чем-то средним между занимательной игрой, и веселым представлением.

Рассказы Лиды входили в одно ухо и уходили в другое ухо. И когда мы наткнулись во время прогулки на этот странный митинг — я была рада новой забаве, новому развлечению. Но скоро речь странного человека на броневике перестала казаться нелепой, а стала даже пугать.

— Дорогие товарищи солдаты, матросы, рабочие, — неслись с броневика крепкие, твердые слова, словно этот маленький человечек хотел их забить, как гвозди, в головы слушателей. — Разбойная империалистическая война — это начало гражданской войны во всей Европе. Близок час, когда по зову нашего товарища Либкнехта, народы повернуть штыки против эксплоататоров, капиталистов. Мировая социалистическая революция поднимается. Германия кипит, и, может быть, завтра европейский империализм падет!...

Русская революция начала новую эпоху...

Да здравствует мировая социалистическая революция!

Человек широко махнул своей серой кепкой, и толпа ответила бурными криками.

— Товарищи, — продолжал Ленин властным тоном, чувствуя, что он уже владеет толпой, и слова его звучали уже приказом:

Довольно проливать свою кровь за интересы фабрикантов, помещиков, капиталистов. Протягивайте братскую руку немецкому пролетариату. Ваши враги — не немецкие солдаты, а эксплуататоры и буржуазия, посылающая вас на смерть за свои интересы.

Война войне...

Мир хижинам — война дворцам!...

Долой разбойную империалистическую войну...

Грабь награбленное!...

Да здравствует власть Советов!»...

Мне показалось, что в широком, чуть монголском лице оратора проскальзывает что-то истинно дьявольское. Я невольно схватила руку Лиды и спросила соседа.

— Кто это такой... там?

Бородатый солдат с простым русским лицом сурово глянул на меня.

— Это-то? А — Ленин...

Он сказал это так просто, словно мне после его объяснения все должно было стать ясным и понятным.

— Но... кто это такой — Ленин?

Солдат посмотрел на меня с досадой.

— Это, видать, — буржуйка? Ленина не знать? Ленин, барышня — спаситель наш... Отец родной. Глаза нам раскрывает на нашу серую жизнь. Учитель — одно слово...

— Чему же он учит? — насмешливо спросила Лида. Солдат недовольно покосился на ее форму сестры милосердия и сдержанно, но мрачно ответил:

— А вы бы, сестрица, лучше б слушали. Его даже дите понять может. А вы, ведь, кажись, образованная!

Ленин, между тем, закончил свои выкрики и сопровождаемый восторженым ревом толпы, сошел с башни броне-

вика. Оркестры заиграли Марсельезу — тогда революционный марш. Бодрый ясный звук знакомого всем мотива несколько развеял наше смущение... Опять все показалось театром. Ликующие восторженные лица с широко раскрытыми орущими ртами невольно заражали своим волнением и восторгом. Лида засмеялась.

— Как это объяснить? Хоть и непонятно все это, а как то действует!

— Что-ж тут непонятного? — раздался сзади голос. — Прохвост, пораженец и больше ничего! Простым людям головы мутит.

Говорил молодой высокий солдат с погонами вольноопределяющагося, и с георгиевской ленточкой на борту шинели. Левая его рука висела на косынке. Славное открытое лицо было нахмуренным и сердитым.

— Как так «пораженец», — с недоумением спросила я.

— А очень просто, — объяснил доброволец. —Пораженец — это тот, кто хочет, чтобы наша Россия была побеждена в войне.

Мы с Лидой поглядели друг на друга с еще большим недоумением.

— Да разве есть такие?

— Но ведь вы сами только что слышали — «Долой войну», «заключайте сами мир, бросайте фронт и идите делить землю»... Негодяй!

— А вы, товарищ, полегче, — угрюмо сказал сзади пожилой рабочий. — Если вы это насчет товарища Ленина — за такие слова можете и ответить.

— Да уж не вам ли отвечать буду? — презрительно повернулся к нему вольноопределяющийся.

— А може и мне, — злобно отрезал рабочий. — Хоть, видать, вы свою кровь за буржуев и пролили (он насмешливо ткнул пальцем в повязку) одначе нашего Ленина лучше не трожьте, — это вам может дорого обойтиться!

— Не напугаешь, — вызывающе поднял голову раненый доброволец. — А видно, правда глаза режет. Кто во время войны призывает солдат не драться, а идти грабить — тот изменник и негодяй.

Слова прозвучали звонко и полновесно. Серые глаза глядели открыто и прямо, щеки зарумянились. Стычка стала привлекать внимание.

— Это про кого он так?

— Да про Ленина.

— Это Ильич то наш — негодяй??? Как: он Ленина цапает?.. А ну, давай как ему, Митюка, в рыло, хуч ен и ерой...

Около нас стала собираться группа рабочих и солдат, враждебно смотревших на вольноопределяющегося. А тот смело продолжал:

— Ленин — просто немецкий провокатор. Его немцы нарочно к нам через всю Германию в запломбированном вагоне прислали, армию и народ смутить. Его не слушать, а повесить нужно.

Молодой доброволец был явно рассержен, словно Ленин оскорбил его лично. Мне он сразу показался честным, милым юношей и стало страшно, что он ввяжется тут в скверную историю. Действительно в среде окружающих его смелые слова вызвали возмущение. Резкие реплики слышались то здесь, то там.

— Тожа, кусок буржуя, нашего Ленина хаит! Молод еще...

— Такие вот, несознательные, только под ногами путаются...

— Ерой тожа выискался. Нам, браток, что Николай, что Вильгельм — все едино: одного поля ягода — кровь народную пить!

Настроение накаливалось. Какой-то молодой фабричный, истасканный, худой, видимо, чахоточный, с горящими ненавистью глазами сипел сбоку:

— Морду ему за это набить и все тута...

— Да ведь он георгиевский кавалер!

— Ну так што? Через это он сволотой перестал быть, что ли? Буржуйский прихвостень! Наутюжить ему рыло!

Вольноопределяющийся услышал угрозы и обернулся.

— А ты, парень, осторожней на поворотах! Ты тут от фронта ловчишься, а я уже третий год в окопах.

— Ну и дурак! Вольно-ж тебе за капитализм кровь свою проливать? — грубо отозвался фабричный. — Это чтобы буржуи на нашем поту, да крови мельены наживали? Нет, браток, таких дураков, как ты, а все меньше нонеча находится. Ленин вона умному учит — бей буржуев! Долой войну!

— Но Россию то ведь нужно защищать? — воскликнул с возмущением вольноопределяющийся. — Если армия сражаться не будет — Вильгельм и сюда придет.

— Ну вот. Что он тута забыл?... А надо, чтобы и у ермана тоже рабочие евонные винтовки свои побросали. Вот общее замирение и будет. Чтобы значит, без некциев и контрибуциев.... А тем часом буржуям по шеям. Скинуть их и вольно зажить. Своим рабочим государством!

— Дурак ты и больше ничего, — вспылил раненый доброволец. — Там на фронте твои братья умирают, а ты тут политикой занимаешься. Шел бы лучше на войну, Родину защищать.

— Ишь ты... Роо-о-дину? А сам небось, сестрицами обложился по самое горло, а других в окопы тянет. Ишь, кралей-то каких заимел...

Грязный палец нахально ткнул меня в плечо. Здоровой рукой вольноопределяющийся резко оттолкнул парня.

— Эй ты, холера ходячая, полегче с грязными лапами, а то...

Брови молодого человека нахмурились, и краска гнева опять покрыла его лицо. Сстранная мысль почему-то мелькнула у меня: я подумала, что он, вероятно, еще никогда в жизни даже и не брился — так свежи и розовы были его молодые щеки. В круглом подбородке была чуть заметная ямочка — почему-то останавливавшая мои глаза. И вообще мне он сразу понравился —в нем была привлекательная смесь мальчика и мужчины, — какая-то веселая мужественность.

Но мне стало немножко страшно, когда он вступился за меня. Один, раненый, перед этими озлобленными рабочими, раскаленными жгучими словами Ленина. Я взяла его под здоровую руку и тихо сказала:

— Перестаньте, ради Бога, задираться с ними. Долго ли до несчастья?

Он с открытой улыбкой взглянул на меня сверху (я была на голову ниже его) и с благодарностью чуть прижал к себе мою руку.

— Ничего, барышня. Таким хулиганам нельзя потакать. Я на фронте не боялся, так уж тут в Питере...

— Правильно, товарищ, — прервал его сбоку какой-то странный грубый голос. — Эта вот тыловая сволочь завсегда норовит: с честными солдатами задираться.

— А ты откудова такой ерой выискался? — с искренним удивлением спросил худой мастеровой. И действительно было ему чему удивиться. К нам через толпу пробился низкий крепкий коренастый унтер-офицер с двумя георгиевскими медалями. По лицу, простому, круглому, курносому, энергичному ничего особенного-то определить было нельзя. Но по налитой крепкой груди и раздувшимся на бедрах брюкам сразу было заметно, что перед нами — женщина. Немудрено, что все невольно повернулись к ней.

— Откудова выискалась?, — с нескрываемым презрением ответила женщина-солдат. — Да уж, конечно, не с поганой твоей Лиговки*), а с фронта. Такие вот дезертиры, как ты, по тылам шатаются, честных солдат задирают, а женщина на фронт пошла. Эх ты, ... питерское!

Очевидно, презрительная ругань из уст женщины была мастерового особенно обидной.

— А ты што лаешься? В штаны вырядилась, так думаешь, что я тебе сдачи не дам?

— Ты кто? Ты так с фронтовым солдатом разговаривать будеш? Сопляк, сволочь тыловая! Тебе бы только таких вот подлецов, как этот штатский на броневике, слушать, а потом народ мутит? Ах, ты...

Она задохнулась от раздражения. И внезапно быстрым решительным движением она так съездила мастерового по уху, что тот полетел на землю. Солдаты в толпе одобрительно загоготали.

— Это вот по нашенски... Вот так смазала! Ай да солдатка!... А приятели мастерового налились злобой и полезли

---

*) Рабочий квартал Петрограда.

в драку. «Солдатка», видимо, также была не прочь подраться, но я испугалась, когда увидела, что вольноопределяющийся, освободив свою руку из под моей, полез в карман, видимо, за револьвером. На наше счастье сбоку показался комендантский патруль, боевые инстинкты рабочих охладели, и мы четверо — «солдатка», доброволец и мы с Лидой поспешили выйти из толпы.

— Ну их к чорту, — презрительно бросила назад солдатка, словно сожалея, что не пришлось подраться. — Совсем задурен народ. Этот вот сукин сын на броневике с толку сбил всех. А наш народ ведь такой — ему только раскачаться... «Долой войну»!... И почему таких сразу же на фонарях не вешают?... У нас на фронте снарядов теперь — хоть завались, снаряжения — сколько хошь. Армия в порядке — только сигнал дай. Теперь только бы и начать бить немчуру. А он поди-ж ты — «долой войну»?... Предатель... Сволочь!

Все в этой крепкой бабе (именно напрашивалось слово не «женщина», а «баба») дышало решительностью и простотой. Чувствовалось, что она повесила бы этого Ленина тут же без всяких сомнений... Не только мы с Лидой, но и вольноопределяющийся смотрели на «солдатку» с нескрываемым удивлением. Она заметила это.

— Что это вы воззрились? Русскую боевую бабу не видели, что-ли до сих пор?

Веселая заразительная улыбка вдруг сразу скрасила ее веснусчатое лицо и сделала его милым и привлекательным. — Я в солдаты с разрешения Государя Императора зачислена.

Мы шли по берегу канала, направляясь к Каменноостровскому проспекту. «Солдатка» сразу же «попала в ногу» с волноопределяющимся и, встретив офицера, четко и ловко отдала ему честь.

— Так что вы теперь заправский солдат? — с любопытством спросила Лида.

— Ну, может, и не солдат, а унтер-офицер, — с комичной гордостью ответила незнакомка. — Видите — даже георгиевская «кавалеристка», — брызнула она смехом. — Этак меня в полку величают. «Кавалер ордена» — ну а баба зна-

чит, «кавалеристка»... Давно представлена к двум крестам*), да вот до сих пор не получила — спор идет, можно ли их женщинам давать. Словно кровь у нас не одна и та же — русская... — В голосе «солдатки» проскользнула обида. — Словно Императрица Екатерина не носила Георгия первой степени. Ну, теперь, может, революция обломает штабные, да канцелярские мозги.

Вольноопределяющийся нахмурился, как бы что-то вспоминая.

— А простите... как вас зовут?

— Меня-то? А Марья Леонтьевна, — просто ответила она. И потом, заметив улыбку на лице всех нас, спохватилась. — А по фамилии Бочкарева. В полку просто Яшкой зовут. Там уж и забыли, что я — баба...

— Ах, вы и есть знаменитый «Яшка»? — с внезапно оживившимся лицом повторила Лида. Да о вас на фронте мы все слышали. Это вы на место убитого мужа поступили?

Бочкарева с безнадежно-шутливым видом махнула рукой. Опять ея курносое русское лицо согрелось простой хорошей улыбкой.

— Насчет меня больше треплются, чем правду говорят. Всего не переслушаешь. А только я уже два года на фронте. Два раза сурьезно ранена.

— Разве вам не трудно на фронте? — невольно вырвалось у меня.

— Трудно, барышня? — снисходительно оглядела меня Бочкарева. — Все в жизни, почитай, трудно. Жить тоже трудно. А только ежели нужно — то какой может быть разговор? А мне, по совести сказать, не с немцами, а со своей солдатской братвой было труднее всего воевать!

— Как так?

— А вот отучить их ко мне с лапами лезть. Они то все думали, раз, мол, баба, так чего и смотреть?... Ну и пришлось

---

*) За четырьмя степенями медали Св. Георгия, идут 4 степени креста Св. Георгия и затем для офицеров — 4 степени ордена Св. Георгия. Все это исключительно боевые отличия Русской Армии.

показать им, что я не баба, а солдат, товарищ. Уж и начистила же я ихних морд — больше любого боксера... — Ея заразительный смех невольно передался и всем нам. Мы все, как по команде глянули на ея крепкие крестьянские руки.

— Да, да... — продолжала Бочкарева. — Спервоначалу трудно было, а потом ничего — и я и солдаты привыкли. И теперь и совсем даже ладно живем. Я — не Машка, а — Яшка. Привыкли ребята и даже любят меня... Так по хорошему, по братски. Мужики, ежели их в руках держать — они ничего, не такой уж и плохой народишко!...

Мы опять переглянулись и засмеялись. В этой боевой женщине было столько жизни, задора, веселости и смелости, что вероятно, все невольно подпадали под влияние ее жизнерадостности.

Когда она, испуганно взглянув на большие старинные часы, вынутые прямо из глубокого кармана, извинилась и, крепко пожав нам руки, поспешно ушла, вольноопределяющийся поглядел на меня с улыбкой.

— Вот это называется «бой-баба!». Ей Богу, вероятно, ни в какой другой стране, кроме России, таких типов не встретить. Словно грозой освежает. И ведь знаете — она действительно на фронте очень известна. Молодец! И какой пример, нам мужчинам!

Мне опять очень понравилось, как просто и сердечно сказал он все это. Я улыбнулась ему и... он тоже. Лида, очевидно заметила это и не без какого то лукавства предложила незнакомцу зайти к нам выпить чаю.

Тот сконфузился.

— Да, нет... Уж извините, сестрица. Я ведь только что с поезда. Грязный, небритый. (Я почему то опять взглянула на его розовые щеки, и мне захотелось провести по ним ладонью, чтобы проверить, есть ли там на самом деле следы противной мужской щетины?). Вот еду в отпуск долечивать руку...

— Да что вы, ей Богу, стесняетесь, вольноопределяющийся, — почти начальственным тоном заявила Лида. — Мы

—семья военная. Папа наш — фронтовой полковник, а мамочка — самая уютная женщина в мире. Так, что прошу не брыкаться. Бери его, Нинка, с той стороны под жабры в плен. Мы не хуже Бочкаревой атаковать можем, когда нужно!...

Так «взяли мы в плен» молодого добровольца, Георгия Лукина, студента технолога, раненого под Барановичами. (Ну, вы уже догадались, читатель, что это и есть мой теперешний муж — чего уж тут тянуть?). Так началось наше знакомство, прошедшее через тяжелые и кровавые испытания, чтобы много лет спустя, уже за границей, закончиться нашим счастливым браком, от которого и появился Жоренька, «сын двух офицеров»...

Теперь, почти через 30 лет, мне трудно объяснить, чем и почему нежный Жора мне сразу понравился. Первая наша встреча, которую я здесь описала, вызвала, конечно, к нему симпатию, но мне кажется, что первой ниточкой привязавшей к «моему солдатику» девичье сердце — была оторванная пуговица... Нам тогда же пришлось снабдить Жору папиным бельем, где-то «там» не было пуговицы, и я сама(для себя лично я очень не любила делать этого) пришила ее. Жора был сиротой, ехал куда-то на Волгу к тетке и оказался этаким «безпризорным юношей». И вот, кажется, эта самая пуговица, эта маленькая женская забота «пришила» меня к высокому скромному студенту. А впрочем?... Разве можно сказать, что, как и всегда именно привязывает женское сердце? Где-то у Марк Твена Ева обдумывает, почему, собственно, она любит Адама. И приходит к неожиданному для себя самое выводу — «я люблю его, потому, что он мой и мужчина». Других причин, по моему, нет»... И это верно. А, может был прав и Оскар Уайльд, сказав: «женщины любят нас за наши недостатки».

Жора показался мне тогда таким непрактичным, бедным, «беззащитным» против требований реальной жизни, что мне сделалось как-то жаль его. Вот, честный русский солдат-доброволец, с Георгием, раненый, а белья у него нет; гребешок поломан, носовых платков всего два (и каких грязных — ужас, ужас!), денег видно, тоже не густо. И всего-то у него есть — молодость, смелость, простота и хорошие честные серые открытые глаза.

Так почувствовала я симпатию и жалость к Георгию Лукину, скромному герою. С этого-то, видно, и началась...

Так в один день, 3-го апреля 1917 года познакомилась я с тремя людьми, которые по своему все трое сыграли роль в моей жизни — Лениным, Бочкаревой и Лукиным. Судьба? Совпадение? Случайность? Кто скажет?...

ГЛАВА 2.

РУССКАЯ ЛИХОРАДКА

Теперь, немножко обо мне и о «том» времени. Господи, как давно это было! Словно столетия промчались над моей головой...

Наша семья была, так сказать, наследственно военной. Сколько я знаю — все наши деды и прадеды были военными, участвовавшими в боях и под Бородиным и под Севастополем. Отец мой командовал полком — теперь где-то на Карпатах и поэтому понятно, почему мы с детства были окружены атмосферой военного мира.

Моя старшая сестра Лида была в то время сестрой милосердя. Ей, бедняга, очень не повезло в жизни. Ее жених, офицер, был убит наповал во время первых-же атак на Восточую Пруссию. Именно это заставило ее посвятить свои силы раненым и больным на фронте. Впоследствии, во время гражданской войны она была сестрой в армии генерала Корнилова; во время отступления этой армии, осталась с раненными в какой-то казачьей станице, была замучена и зверски убита большевиками.

В то время, которое я описываю — весна 1917 года, она все время уговаривала меня также поступить в сестры милосердия, но я решила сперва окончить гимназию — это важное

событие должно было произойти в конце апреля. Обидно было бросать гимназию за какой-нибудь месяц до получения диплома.

Время было путанное и полное грез. Сколько позже я ни читала книг про это время — никто не мог толково описать, ЧТО ИМЕННО происходило в России и с Россией в начале рокового 1917 года.

Пусть читатель не ждет этого и от меня. Я ведь не хочу давать вам мои теперешние мысли. Мне хочется представить вам себя такой, как я была в то время — веселой, смешливой, жизнерадостной девушкой неполных 18 лет. ЧТО могла я понимать в сложности того времени?...

Но все-таки несколько слов сказать нужно.

После военных неудач 1916 г., страна с громадным напряжением перестроилась на военные нужды, армия была реорганизована, пополнена, снабжена всем необходимым для военного наступления 1917 года. Папа говорил, что наступление это должно быть удачным и решающим. Немцы не могли выдержать русского удара. Но в это время внутри страны уже что-то бродило, какие-то смутные предвестники бури. В декабре 1916 года Великий Князь с членом Государственной Думы Пуришкевичем и князем Юсуповым, тенисным чемпионом, убили Распутина, злого гения России и доброго гения Цесаревича*)

Убийство Распутина словно еще больше надломило внутренние силы страны. Пришла февральская революция, выросшая из продовольственных беспорядков; ударило, как громом, отречение Царя от трона и после этого словно что-то сорвалось с петель, со стержня. Или, как потом говорили бородачи-солдаты:

---

*) За границей о Распутине желтая пресса распустила много разных сплетен. Его история вовсе не была такой гнусной, и он сам был в своем роде человеком исключительным и даже таинственным. Будучи глубоко верующим, бессеребренником, он своей таинственной силой не раз спасал больного Наследника Цесаревича от смерти и предсказал точно свою смерть, смерть Царской Семьи и крушение Империи.

«Расея Матушка, на Царе, как на шкворне держалась. Ну, а теперя сломался шкворень и пошли колеса в разные стороны колесить. Добра с этого не быть»...

Другой выразился почти также:

— Сбили с Матушки России царские обручики, бережно, крепко и умело ее державшие веками. Ну и рассыпается русская клепка»...

И, действительно, даже я, веселая, беззаботная гимназистка, чувствовала, как назревает в стране что-то грозное. Все были пьяны революцией. Всем она представлялась не кровавой гнусной мегерой, как мы знаем ее теперь, а Алой Принцессой сказки.

Красные банты, восторженные речи, знамена, оркестры, яростные споры, политические разглагольствования о «свободе» — все это создавало атмосферу нездоровой лихорадки. Что будет дальше с Россией — никто не знал. Теоретически считалось, что Временное Правительство будет продолжать войну «до победного конца», а летом Учредительное Собрание определить форму дальнейшего государственного устройства России. С наблюдательностью молодой девушки я отметила тогда-же, что монархия не перестала существовать в России. Великий Князь Михаил, которому Государь передал трон, только отложил принятие власти до «волеизъявления народа» на Учредительном Собрании*).

Газеты того времени были полны политикой — тогда все вдруг стали «политиками» и важно рассуждали о государственных вопросах. Я тоже пыталась читать эти газеты, но, признаться, начинала тут же зевать и меня тянуло ко сну. А вместе с тем простые слова Ленина, брошенные в толпу с броневика на «том» митинге, с какой-то странной резкостью врезались мне в память. В них была какая-то страшная сила и, помню, в тот-же вчер, проводив на вокзал Жору Лукина (в

---

*) С точки зрения законов России, молодой Великий Князь Владимир, двоюродный племянник убитого Императора, родившийся уже в эмиграции, имеет все формальные права на Российский Престол.

глубине сердца я называла его уже «Жорочкой») я долго не могла уснуть и все старалась понять, о чем же, собственно, говорил этот толстенький человечек — Ленин.

Выходило что-то неразрешимое. С одной стороны я не питала никакой злобы к какому-нибудь Миллеру, а, с другой, он пришел незванный на русскую землю. Правда, он пришел сюда не по своей воле, мобилизованный, но ведь как раз в это время он, может быть, убивает моего папу. И, если, по Ленину, не надо воевать — то кто же тогда защитить нашу Родину, если немцы будут наступать? И кто на кого, собственно, напал? Кто виноват в войне? Почему простой народ отвечает за чьи-то ошибки?... Почему, может быть, через несколько дней этот вот «мой Жорочка» будет умирать с пулей Миллера в животе? Справедливо ли это?

Я все ворочалась на своей постели, не находя ответа. Нехватало знаний, жизненного опыта и... ума для решения этих задач. Впервые в моей жизни чужие слова вызвали в моих мыслях такую бурю. Лида, которая, приезжая в отпуск, всегда спала в моей комнате, заметила мое волнение и не без ласковой насмешки в голосе, вдруг лукаво спросила:

— Что, Нинка, все о своем бедном солдатике думаешь?

Я почувствовала, что кровь приливает к моим щекам и страшно разозлилась.

— Ах, какие пустяки! Я не об одном «солдатике» думаю, а о миллионах. И знаешь, Лидка, совсем я запуталась...

И забравшись по старой привычке к сестричке под одяло, я рассказала ей о своих сомнениях. Та ласково гладила меня по волосам — что-то материнское всегда было в ее отношениях ко мне. (Наша мамочка была очень сдержанной на ласку и нежность). Дав мне выговориться, она тихо, но твердо ответила:

— Перестань ты об этом думать, глупышка. Не твоих мозгов это дело. Если Государь, правительство и Государственная Дума решили воевать, как можешь ты спрашивать, это нужно или не нужно, правильно или неправильно?

— Но ведь, жизнь-то, шкура-то ведь моя — собственная? Не министерская? Как это можно заставить человека убивать других или посылать людей на смерть? Совсем другое дело,

если он идет добровольно? А если он не хочет? Ведь сам Христос сказал «не убий». Как же так? А вот Ленин сегодня кричал, что простой народ от войны только проигрывает...

Лида продолжала гладить мою голову, пóка я, захлебываясь от волнения, «выкладывала» ей, что у меня на душе. Молодые годы так чувствительны к вопросам правды и справедливости. Не даром кто-то сказал, что самый благородный возраст человека 15-18 лет. А генерал Баден Пауэль создал свою гениальную систему скаутского воспитания как раз на учете этих рыцарских качеств молодой души. «Инстинкт справедливости» особенно силен в молодости...

— Государство, — объясняла мне сестра, — это вроде большого организма: мозг приказывает — руки подчиняются.

— Но ведь, если палец сунуть в огонь — он сам оттуда удирает?

Лида засмеялась.

—Ну, не всегда. Читала в истории древнего Рима, как Муций Сцевола добровольно сжег свою руку?

— Так не всем же быть Сцеволами? Вот тот солдат бородач, которого мы сегдоня видели на митинге — он просто не хочет воевать.

— Воевать, милая, никто не хочет. А только у нас есть долг перед Родиной, защита Отечества, родной земли, где родились мы, наши отцы, деды и прадеды. Немцы пришли на нашу землю с оружием в руках. Мы должны выбить их отсюда. Понятно? А насчет бородача — ты неправа, Ниночка. Такие вот бородачи столетиями строили Российскую Империю. И дрались и умирали за нее. Теперь это — только временное помрачение умов. Это он теперь только запутан подлыми людьми и не понимает, куда ему идти. Ленин не смог разрушить Россию сам со своими революционерами, и он теперь хочет сделать это с помощью немцев. Ему нужно наше поражение для собственной выгоды — революции. А нам всем, честным русским людям, нужна победа, чтобы жить мирно и спокойно. Это вот маленький человечек — разрушитель. А мы хотим, чтобы Россия жила. И такие бородачи столетиями строили Российскую Империю. И дрались и умирали за нее. Теперь — это

помрачение умов. Знаешь, как пели русские солдаты, когда в первый раз Берлин брали?...

— Ну, а как?

Лида пропела старую солдатскую песню:

«Где пулей неймем,
Там грудью берем.
Где грудью не берем,
Там Богу душу отдаем».

Спокойные рассудительные слова сестры смягчили мое бурное настроение. Песня — такая милая русская солдатская песня, просто и гордо говорившая о скромном героизме, о смерти за Родину, как-то заворожила меня. В моем воображении встали ряды таких вот бородачей, которые стеной шли вперед за Россию. Пули рвали их ряды, штыки разрывали их тела, а они все шли... шли к победам... И побеждали!...

Но утром проснулась я на смоченной слезами подушке. Мне снилось, что какой-то огромный зверского вида немец пронзил своим ржавым штыком сразу и папу и Жорочку...

Через неделю Жора опять приехал в Петербург и не без смущения зашел к нам. Лиды уже не было, но мама и я встретили его так сердечно, словно он был старым другом. На мое счастье выпускные экзамены в гимназии были отменены, дипломы давали по отметкам и, таким образом, я без всякого труда должна была получить скоро желанную бумагу. Почему то этот диплом в мужских гимназиях назывался «аттестатом зрелости», а в женских — просто «свидетельством». Почему юноши могли быть «зрелыми» в 18 лет, а мы нет — я до сих пор не понимаю! Но было немного обидно за женщин. И, кроме того, слова «аттестат зрелости» звучали так гордо и солидно, словно действительно давали право на вступление во взрослую жизнь...

Жора имел больше недели свободного времени, и я взялась показать ему все красоты и достопримечательности Петрограда — самого чудесного северного города во всем мире.

Я пыталась затевать с Жорой и политические разговоры, но ничего не вышло. Когда я спрашивала его, что такое социализм, он краснел (правда, краснел он часто не из смущения или робости, а такие уж у него были щеки, вспыхивавшие по всякому поводу) — и честно признавался в своем невежестве. Он был натурой артистической и боевой (несмотря на свои девичьи щеки), а в политике не разбирался и не хотел разбираться, Я сперва стыдила его, но потом перестала, честно рассудив, что человек едет на фронт и ненужно ему зря морочить голову. Может быть, поэтому и вышло, что я позволила себя поцеловать и даже не раз и два. Ну, конечно, я и раньше целовалась с гимназистами на балах и танцульках, но только теперь я всецело оценила «вкус поцелуя». Право, какая чудесная штука человеческий поцелуй — материнский, отцовский, братский, сестринский и, наконец, «его» поцелуй. «Он» — какое хорошее и сразу понятное слово. Пушкин писал в каком-то своем стихотворении, как какой-то гусар плакался в жилетку своему другу про свою неудачу:

«Она», мол, и такая и этакая распрекрасная, нежная и даже дает себя целовать... «Так в чем-же дело? — удивился друг. — «А беда-то вся в том, что я ей не «он»».... И все горе бедного гусара понятно...

А мы с Жорочкой чувствовали себя именно, как «он» и «она» — вместе. Ворковали, дурачились, хохотали, капельку целовались — ей Богу, совсем, совсем невинно (да он и не умел, по правде сказать, как следует целовать, и эта его неуклюжесть была очень «уютна»). И совсем, совсем не думали мы о будущем. Кто тогда мог бы сказать, что пройдут страшные месяцы, а потом и годы, и мы заграницей встретимся с этим скромным добровольцем с георгиевской черно-оранжевой петличкой на борту шинели.

И что он тогда будет уже капитаном, а я... Боже мой, как могла я даже представить себе, что я буду поручиком Российской армии, героем Женского Баталиона Смерти?...

Странное дело: мне не было очень грустно, когда Жора уезжал на фронт. Радость жизни и полнота сердца не допускали печальных мыслей.. Я думаю, что первая девичья любовь всегда жадна, эгоистична и, так сказать, лична.

«Он», первый «он» — как-то абстрактен: просто первый мужчина, который стал ближе к девичьему сердцу. И в этом сердце, в девичьей душе, в чувствах в это время такой кавардак, так много того, в чем еще невозможно разобраться, что нет никакой объективности, и круг жизни, хотя и блестит всеми красками радуги, но страшно узок. А, может быть, вернее сказать, что в этот период мозги совсем атрофированы — только сердце поет первую песню победной любви, глаза сияют, губы смеются и руки так и тянутся обнять «его»....

Итак, Жора уехал, а в моем сердце продолжали петь беззаботные птички первой девичьей любви. За Жору, уехавшего в бой, не было ни тени беспокойства. Казалось совершенно невероятным, что Жору, моего Жору, могут на фронте убить, как убили немцы жениха Лиды. Любой вольноопределяющийся 13-ти миллионной Русской армии мог быть очень даже легко и просто убит, но никак не Жора. Хорошо сказано у Пушкина:

«Гадает ветренная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима»...

Я не знаю почему, но тот период моей юности кажется теперь, спустя почти 30 лет, каким-то светло-розовым и немножко смешным. Пожалуй, каждый возраст имеет свою прелесть, но молодость не умеет наслаждаться в полной мере своей молодостью — слишком она еще глупа... Разве может, например, молодой, здоровый «бронебойный» желудок понять по настоящему тонкую кулинарию? Только на склоне своей жизни может человек, приобрев жизненный опыт, понять, что такое действительно хорошо приготовленное кушание. И какие-нибудь американские миллиардеры, в погоне за своими долларами потерявшие здоровье, взывают в газетах — «миллион долларов за здоровый желудок»...

А искусство, а музыка, а красота Бжьего мира — разве все это доступно пониманию и чувствам юности? Она, эта молодость, живет только внутренними ощущениями, кипением своей собственной жизни. Окружающее как-то проходит мимо... Разве может, например, молодость провести час ночью

в саду, глядя на высокое звездное небо и поражаясь чуду Божьего мира и ничтожности человеческих песчинок во вселенной... Молодость живет сама собой, но, по правде сказать, не ценить она, эта молодость, своих красок и своих ощущений. Чего стоят, например, одни эти первые смешные, глупые, неловкие поцелуи, о которых в зрелом возрасте человек вспоминает с увлажненными глазами и нежной улыбкой. И осторожно вынимает эти бриллиантики воспоминаний из шкатулки прошлого, чтобы ласково и немножко печально улыбнуться и с бережной нежностью уложив обратно, вернуться к жизненному бою сегодняшнего дня...

Но все таки я думаю, что люди переоценивают краски и радости молодости. Возьмите хотя бы материнство — сколько радости дает мне и теперь мой Горенька, хотя он уже на голову перерос меня? Есть во взрослом человеке что-то, что зовется — то ли жизненным опытом, то ли житейской мудростью, что окрашивает все в жизни мягкими красками понимания, снисхождения, ясности. Это тоже стоит и яркости молодости...

Извините, дорогой читатель, за этакое «лирическое отступление». Вероятно, правда, что перешагнув половину своей жизни, человек становится немножко философом...

Итак, я продолжаю свой рассказ...

Апрель 1917 года. Наша Россия мало-по-малу погружалась в состояние хаоса. Ленин продолжал с балкона, занятого им силой дворца, громить правительство «буржуев, империалистов и классовых врагов пролетариата», призывать к развалу фронта, к братанью с немцами, к неповиновению и дезертирству. От него, как от какого-то заразного центра, шли постепенно во все углы фронта и страны волны какой-то растерянности, потом недоумения, потом задумчивости, досады, ненависти и решимости не подчиняться и разрушить тот государственный режим, который послал простых людей на фронт, вместо того, чтобы им сидеть в родной хате, обнимать свою привычную бабу, вести хозяйство и не думать ни о чем, что крупнее своей деревни или своей волости.

И Ленину все сходило с рук. Был сумасшедший период опьянения «свободой». Все было позволено. Каждый «занимался политикой», как ему хотелось...

А на фронте в то время готовилось наступление. Министр Керенский входил в ореол своей славы. Он носился по всей России, по всем фронтам и всех «уговаривал». Уговаривал: солдат — воевать, крестьян — забирать помещичьи земли, рабочих — работать на оборону, граждан — повиноваться Временному правительству, интеллигенцию — быть достойной «завоеванной свободы».

Красивые слова сыпались из его уст, как весенний дождь, но все это мало помогало. Особенно остро стоял вопрос на фронте. Армия технически была подготовлена сильнее, чем когда-либо в истории России, но в ее душе появилась уже какая-то зловещая трещина. Не столько усталость, как какое-то безверие. Солдаты еще не кричали ленинское «Долой Войну!», но уже спрашивали: «зачем эта война нам нужна?» и «зачем мне эта победа, ежели из моего брюха будет лопух расти?».

Я лично по-прежнему плохо разбиралась в происходящем и только ощущала чуткой молодой душой, что тут «что-то не так». Что именно — я не могла понять, но сердце уже начинало чуять какое-то все растущее грозное напряжение и неизбежную беду...

ГЛАВА 3

ПРАПОРЩИК БОЧКАРЕВА

Громадные буквы на афишах били в глаза:

«Товарищи Женщины!

«Женский союз победы» приглашает вас в воскресенье 21 мая в 11часов в цирк Чинизелли на большой митинг, посвященный активному участию женщин в войне. Выступают — министр президент А. Ф. Керенский, военный министр ген. Верховский, прапорщик М. Л. Бочкарева и др.

Долг каждой русской женщины включиться в общие усилия для победы над врагом».

Внизу афиши, довольно крупными буквами было добавлено пикантное: «Мужчины допускаются только при наличии свободных мест.»

Ну, как не пойти на такой митинг? Конечно, я пошла. Не потому только, что и мне тоже страстно хотелось сделать что-либо активное для Родины, но еще и потому, что я вспомнила неуклюжую фигуру унтер-офицера женщины, с которой я познакомилась у Финского вокзала в начале апреля. Теперь она уже офицер!.. Признаться, какое-то чувство зависти укусило меня за сердце. Офицер Бочкарева — это хорошо звучало, гордо и в то же время просто. Вот время войн с Наполеоном. Император Александр I-ый произвел в офицеры Надю

Дурову, знаменитого кавалериста, отличившегося во многих боях. Но с тех пор ни одного офицера женщины не было в рядах Русской Армии... Вот она какая, Марья Бочкарева, неунывающая россиянка! Женщина напора, энергии и смелости! ЧТО скажет она другим женщинам?...

Лида была в это время на фронте, и я уговорилась со своей подругой по гимназии, Лелей Колесовой, вместе на школьной скамье сидели вместе по шпаргалкам списывали, пойти на митинг вдвоем. Я уж не знаю почему взрослая дама еще как-то может действовать в одиночку, но девушки всегда норовят быть вдвоем. Играет ли здесь чувство большей безопасности от мужских атак? Или молодая неуверенность? Или просто желание иметь возможность всегда с кем-то поделиться своими переживаниями и впечатлениями, такими острыми в юности? Не знаю. В общем, мы пошли с Лелей вместе.

Цирк, как и следовало ожидать, был набит до отказа. — «Народу больше чем людей», как смеялась Леля. Мужчин было очень мало — их, бедняг, действительно пускали туго. Я думаю, было тысяч до 5 женщин — гимназистки, курсистки, сестры милосердия, работницы. Настроение было явно повышенное, «именинное». Правда, нужно сказать, что ТО время было вообще примечательно истерическим интересом к «политике», в которой мало кто понимал, но о которой каждому можно было «свободно» говорить. В те времена все почему-то считали, что «проклятый царизм» лежал этакой плитой на всех проявлениях народной свободы и вот теперь, наконец-то, всем позволено свободно дышать. Тогда я сама этому верила, так сильно было это всеобщее сумасшествие. Но, конечно, до какой-то степени этот «медовый месяц» митингов можно было понять: об Императоре или его правительстве плохо можно было говорить только «под сурдинку». А теперь — ругай все и вся, сколько угодно — «свобода». Для критики не было рамок: бей по коню и по оглоблям, что и делал Ленин, ведя свою разрушительную пропаганду. Безнаказанно он «крыл» всех — и временное правительство, и министров, и их мероприятия, и церковь, и генералов, и офицеров, и армию. И это заражало. Пожалуй, эта «зараза свободы» самое опасное для человека и для общества — особенно в дни молодости того и другого. Но, простите, опять я ушла в сторону.

В цирке было все по праздничному. Знамена, лозунги, оркестры. Один военный марш сменялся другим. Ждали Керенского, который всегда «изволил прибывать» с опозданием. Но он был «душкой», героем революции, и поэтому на него никто не сердился. Папа объяснял мне как-то, почему Керенский выдвинулся. В тот период, когда в России было собственно ДВА правительства — одно Временное и другое — Совет Рабочих и Солдатских Депутатов — Керенский сыграл роль этакого промежуточного звена между ними. Мне казалось, что он лично был человеком искренним и энергичным и обладал зажигательным даром речи. Чем он, собственно, виноват, что не оказался по своим качествам НА ВЫСОТЕ ТОГО времени? А кто ТОГДА таким оказался? Разве что Ленин, да Троцкий; о Сталине тогда никто не слыхивал: его «революционную роль» создали услужливые историки уже потом. Тогда он был известен только в узких революционных кругах, как бомбист и экспроприатор — ограбил Тифлисский банк в 1905 году.

Он устроил засаду на одной из площадей города и когда карета, окруженная экскортом казаков, поравнялась с небольшой гостинницей, где террористы устроили «боевой пункт», с крыши была брошена бомба, и «сам» Сталин стал стрелять по казакам и толпе из окна гостиницы. Потом один из террористов, переодетый офицером, подлетел к карете с деньгами, вытащил оттуда что-то больше 200.000 рублей и умчался в коляске.

В несколько минут были убиты казаки и до 28 женщин и детей. Деньги были переправлены воФранцию, но на несчастье революционеров они состояли из кредитных билетов в 500 рублей. Номера их были тотчас же сообщены по всему миру, и Литвинов (позже народный комиссар финансов) был арестован в Париже при сбыте денег.

Так большевики и не смогли использовать награбленное богатство, окропленное кровью невинных людей.

Речь Керенского была блестящей. Он ярко рисовал «завоевания революции» и призывал защищать эти завоевания грудью. (Какие они, эти завоевания — он ясно не говорил). Он не стеснялся отметить трудности построения «Новой Рос-

сии», указывая, как неустойчиво положение внутри страны и на фронте, как растет хаос везде и как заражает он фронт. По его словам, в армии уже появились опасные признаки внутренней болезни — неповиновение офицерам, нежелание воевать, дезертирство...

Нужно тут сказать, что еще до Керенского, в самом начале революции, Петроградский Совет выпустил свой знаменитый, роковой в истории России «приказ № 1» — «о правах солдата — гражданина».

Этим приказом отменялись отдание чести вне строя, титулование, обращение на «ты», все ограничения для нижних чинов и даже... «восьми часовой рабочий день»! Это в военное время и для солдата!.. В общем, в приказе умышленно и демонстративно были подчеркнуты солдатские «права», а об обязанностях не было сказано ни слова. Но самое ужасное в приказе было — создание в каждой части выборного комитета из солдат, без санкции которого приказы командиров были не действительны. В более важных случаях, например, отправление Петроградских воинских частей на фронт — нужно было согласие Совета Депутатов города. Этот приказ в начале предназначался только для Петроградского гарнизона, но вихрем пронесся по всему фронту, нанеся смертельный удар воинской дисциплине.

Керенский говорил и об этом приказе. Его голос все больше и больше стал взвинчиваться и переходить на истерические ноты.

— Товарищи, кричал он с трибуны, лихорадочно жестикулируя. Его выразительное усталое, с мешками под глазами, лицо, бледнело все больше. Товарищи! Мы должны быть, мы обязаны быть достойными завоеванной свободы. Порой, когда я гляжу на начинающийся развал дисциплины, на беспорядок, на грабежи, на растущее в армии и в стране дезертирство, уклонение от выполнения своего гражданского долга, мне начинает казаться, что мы — не свободные граждане, а просто толпа взбунтовавшихся рабов...

Помню, весь цирк затих при этих страшных словах. Десять тысяч пар глаз были неподвижно уставлены на министра-президента. А он стоял, сам взволнованный, на обтянутой

красным сукном трибуне и было похоже, что эти страстные слова, впоследствии сделавшиеся знаменитыми, вырвались у него невольно, из глубины искреннего переполненного болью сердца. Тем более они были потрясающими. Они прозвучали, словно первый отдаленный звук грома от приближающейся грозы. Небо еще ясно, еще тепло и радостно вокруг, но уже далекий горизонт занят длинной страшной темной тучей, и низкий, рокочущий угрожающий звук глухо доносится издалека. Радость солнечного дня скоро будет закрыта ревущей бурей... Так чувствовала, вероятно, не только я, но и все собравшиеся в цирке.

Керенский и сам почувствовал напряжение и резко переменил тему: заговорил о том, что нас всех интересовало — об участии женщин в обороне страны. Он похвалил деятельность фронтовых сестер, тысяч женщин, занятых в тылу, и вдруг, картинно повернувшись к столу президиума, где виднелась коренастая фигура Бочкаревой, добавил:

— А теперь вот прапорщик, товарищ Бочкарева, героиня не одного сражения с немцами, расскажет вам о своем новом грандиозном проекте.

Поднялась овация. Растерявшаяся и очень смущенная Бочкарева стояла на трибуне в положении «смирно», а весь цирк дрожал от рукоплесканий и криков.

Единственная в России женщина-офицер несколько раз пыталась начать говорить, но напрасно. Вид ее двух георгиевских медалей и двух георгиевских крестов (видимо, она таки добилась своего, отвоевала «право бабы» на равные награды за равные подвиги!), ее фронтовые защитного цвета погоны и, наконец, слова, которыми Керенский представил ее — наэлектризовали всех. Несколько минут, не переставая, гремели крики. Потом, когда все стихло, Бочкарева, пройдя к краю стола, откуда говорили ораторы, неуверенно и спотыкаясь начала:

— Товарищи... Вы уж меня простите, я никакой не оратель (оратор, поспешно поправилась она, но никто не засмеялся). Я — простой фронтовой солдат, который честно исполнял свой долг — дрался с врагами нашей любимой Родины... И вовсе никакой я не герой, как вот только что сказал наш

дорогой Александр Федорович, министр-президент. Так что, право слово, я ничем не заслужила. И пущай это будет приветствие и слава не мне, а нашему русскому солдату...

Опять разразилась овация. Цирк загремел еще более бурно. Слова женщины-офицера были так просты, так непосредственны, что даже скептические усмешки некоторох (особенно у просочившихся в цирк мужчин) смягчились. Личность Бочкаревой завоевала симпатии толпы и своей простотой и своей мужественностью и своей внутренней силой. Конечно, повлияло на толпу и сверкание боевых отличий. У нас в России все знали, что Георгий не дается по пустякам, что это подлинно боевой знак отличия и что, очевидно, действительно эта коренастая, неуклюжая 30-тилетняя женщина была героем не одного сражения. Уже это одно давало ей право на уважение и на то, чтобы ее слушали с вниманием...

— То, что говорил нам наш любимый Александр Федорович, — продолжала Бочкарева, — все это, товарищи, верно. Есть многие несознательные элементы, которые понимают свободу, как ничего не делать, отказываются повиноваться и крепко держать винотовку перед лицом злого врага.

При общем напряженном молчании Бочкарева рассказала несколько фактов из жизни ее полка: о нарушении дисциплины, об отказе идти на боевой пост, неуважении к офицерам, дезертирстве, попытках к братанью.

Случаи были малозначительны, но очень характерны. Когда о таких фактах говорил Керенский, получалось что-то — «в общем и целом», что-то не очень достоверное, хотя и грозное. Но мелкие факты, рассказанные просто и ясно очевидцем, фронтовым солдатом — произвели гораздо большее впечатление — словно это были симптомы какой-то опасной заразной болезни, реально угрожающей стране. А что, мелькнула у всех мысль, если такое настроение разольется по ВСЕМУ ФРОНТУ, зальет и всю страну и будет усиливаться?..

И было забыто восторженное обожание этой женщины-офицера. По спинам прошел какой-то холодок, в душу вступил еще мало осознанный ужас. И именно в эту минуту при подавленном молчании слушателей Бочкарева произнесла свои спокойные исторические слова:

— И вот, товарищи-женщины... Потому я теперь и обращаюсь ко всем русским женщинам, в которых есть еще русская совесть, честь и храбрая кровь. Решила я сформировать женский боевой батальон смерти, сделать настоящих солдат-женщин и выступить с ними на фронт... Я — не вовсе дура и понимаю хорошо, что такой батальон не может почитаться настоящей боевой единицей на фронте. Но он... но он должен пристыдить тех мужчинов-дезертиров, которые накануне окончательной победы над врагом, уклоняются от исполнения своего гражданского долга... Так вот, товарищи-женщины, я приказываю вам вступить в мой батальон. На его формирование я имею уже согласие товарища Керенского и товарища Верховского. Мы с месяц проучимся и пойдем покажем и Рассее и Германии, что у нас есть женщины с сердцами орлов...

Как ни странно — после заключительных слов Бочкаревой, сказанных спокойно и даже как-то буднично, не раздалось ни одного хлопка. Все сидели, как завороженные, не сводя глаз с Бочкаревой, которая сама видимо не понимала, какую революцию она подняла в душе кажкой своей слушательницы. А сердце у всех женщин билось лихорадочно и страстно. Женский Батальон? Ведь этот призыв относится не только ко всем женщинам, он относится также и ко МНЕ ЛИЧНО... Не пойти ли И МНЕ?..

Такая же мысль молнией обожгла и меня. Мне показалось, что Бочкарева высказала именно, то, что смутно росло где-то там в глубине души, но не могло оформиться во что-то ясное и определенное. Женский Боевой Батальон... Помню, в груди у меня снова что-то остановилось. Дыхание замерло, какой-то холодок восторга и решительности прошел по всему телу и замер мурашками в пальцах ног.

Вероятно, мои глаза сияли от возбуждения, когда я поглядела на Лелю. В ее серых выпуклых наивных глазах, как в зеркале отразилось мое возбуждение. Мы без слов поняли друг друга и молча протянули друг другу холодные дрожащие руки.

Теперь, взрослой женщиной, с волосами убеленными пылью жизненной дороги, я улыбаюсь, вспоминая свое волнение тогда, в мае 1917 года, когда во мне созрело решение

пойти в Женский батальон. В 18 лет человек, особенно женщина, имеет совершенно иные реакции, — словно особо чувствительная антенна, которая звучит от самого нежного прикосновения. У нее, так сказать, душа без жизненных мозолей, тормозящих реакции в более взрослом возрасте... Но... Ах как хорошо иметь впечатлительную душу, бурно вспыхивающую от благородных побуждений!..

При общем каком-то торжественном, даже придавленном молчании взял слово генерал Верховский, военный министр, сухой подтянутый суровый человек.

Я едва слушала и теперь плохо вспоминаю его спокойные размеренные слова — слишком яркие чувства бушевали у меня на душе. Помню только, как в конце своей короткой речи он заявил, что для обучения женщин добровольцев будет выделено все необходимое, что военное министерство с большой серьезностью и заботой отнесется ко всем нуждам батальона, и он надеется, что этот батальон оправдает свое назначение — поднимет дух уставших русских войск на фронте. В заключение он добавил, что запись в батальон будет производиться после митинга в фойэ цирка...

Керенский несколькими теплыми словами закрыл собрание. Грянула Марсельеза (тогдашний русский гимн), и вот тогда все словно опять ожило после сна. Я много восторгов слыхала на своем веку, но такого урагана от рева пятитысячной толпы мне не доводилось никогда больше встречать...

Ошалелые — именно ошалелые — от восторга и возбуждения, спустились мы с Лелей с галерки цирка в фойэ, чтобы там записаться в батальон и там сразу же получили холодный душ.

Строгий подтянутый офицер военного министерства испытующе посмотрел на нас, взволнованных и раскрасневшихся, и чуть улыбнулся заметив, что мы инстинктивно, как маленькие девочки, держим друг друга за руки.

— Вам сколько лет?

Я почувствовала словно укол в самое сердце.

— Во-восемнадцать!

Вероятно, мой голос звучал не только испуганно, но даже с отчаянием, потому что строгое лицо смягчилось.

— Было или будет?

— Бы... Было. У меня даже вот тут свидетельство об окончании гимназии есть...

Я стала торопливо рыться в своей сумочке — я всегда таскала мой атестат с собой, взглядывая на него по нескольку раз в день, но офицер остановил меня движением руки.

— Не нужно... До 18 лет приема в батальон нет. В возрасте от 18 до 21 года требуется предоставление разрешения родителей. Мысли опять сумасшедшим волчком закружились в моей голове. Разрешение родителей?..

— А я сирота, с испугом сказала в свою очередь Леля. Ее круглое, курносое, румяное веснущатое лицо было напряжено. Губы вытянуты вперед, как будто она списывала какую-то трудную задачу. Помню, у нее всегда было такое лицо во время трудных школьных экзаменов.

— Сирота? — офицер на секунду задумался. — Ну, тогда разрешение ваших опекунов.

— У меня нет опекунов. Я живу у своей тети.

— Тогда принесите письменное разрешение тети.

— Хорошо... Сюда?

— Нет. Прямо в казарму батальона. Торговая 14, Петроградская сторона.

«Казарма батальона» — ах, как это хорошо и сочно прозвучало!... Мы с Лелей вышли из цирка, как во сне, не обратив даже внимания на возбужденную толпу женщин, теснившихся в фойэ. Лелино лицо опять стало беззаботным — она знала, что тетя не будет противиться ее желаниям. Молодой женский напор, конечно, сломает сопротивление старушки. Да и потом Леля может и приврать малость — долго ли умеючи? Но вот относительно самое себя — я была в большом сомнении. Моя мама понимала, что такое казарма и что такое батальон. Ее не проведешь легкомысленными объяснениями. Она знала, что такое военное дело и что значит фронт. Папа был на фронте, а он скорее понял бы меня и дал бы разрешение. И Лиды не было дома — она тоже помогла бы мне уломать мамочку. Она ведь давно звала меня на фронт, правда, как сестру милосердия, но ведь в конце концов положение настоящей фронтовой сестры мало чем без-

опаснее солдатского, конечно, если она не прячется в тылу... А мамочка у нас была серьезная и строгая, и мы никогда не могли ее до конца понять. Как отнесется она к моей просьбе?.. Словом, во мне не было уверенности в успехе...

Не без сердечного трепета пришла я домой. С восторгом рассказала маме о своих впечатлениях — без всякого намека на свое решение. Но мамочка сразу же почувствовала, чем это пахнет. Вероятно, мои щеки горели ярче обычного и было что-то в голосе — какие-то срывы, какая-то интонация. И во время какого-то маленького перерыва в моем рассказе, строгие серьезные глаза мамы пристально поглядели в мои.

— И тебя тоже захватила эта мысль? — тихо уронила она.

Мое сердце забилось еще сильнее. Было что-то в голосе мамы бесконечно жалкое, какое-то страдание, какая-то покорность судьбе, словно вот она и хотела бы удержать свою младшую дочь от смертельного риска, но ЧТО-ТО ей мешает. И я ясно почувствовала эту боль. Сорвавшись со стула, я бросилась на колени перед мамой, уткнулась головой в ее руки и заплакала. Мы обе были в этот момент искренно несчастными, беспомощными перед силой какого-то РОКА. Она ЗНАЛА, что ей не удержать дочери, я ЗНАЛА, что мне не удержаться от рокового решения. И эта вот беспомощность перед судьбой было самое тяжелое в наших чувствах.

Мамочка молча гладила меня по голове и никогда я не чувствовала себя так близко к ее сердцу, так тесно «вместе».. Так шли минуты. И потом ЧТО-ТО обожгло мою руку. Мама плачет? Мы с Лидой никогда не видели ее плачущей, и я была потрясена этим. Но когда я подняла голову, на глазах у мамы уже не было слез, так что я могла бы подумать, что ошиблась, если бы не ощущение, скользнувшее по руке. Ведь самая раскаленная, самая прожигающая влага в мире — это человеческие слезы... И до сих пор я не могу забыть страшного впечатления от маминой слезы, которую я не видела, но которая БЫЛА...

Больше между нами не было сказано ничего. К вечеру мама заперлась в своей комнате и утром без слов передала мне листок бумаги:

— «Настоящим я разрешаю своей дочери Нине Крыловой поступление в Женский батальон прапорщика Бочкаревой с уверенностью, что она выполнит свой долг перед Родиной.

Петроград 21 мая 1917 г.

Зинаида Крылова».

Когда через месяц с фронта в Питер приехал папа, он сейчас же зашел в казарму батальона повидать меня. Он не выразил ни порицания, ни одобрения — словно, все шло совершенно обычным порядком. Мы с ним много говорили на «взрослые» фронтовые темы, избегая интимных ноток в разговоре и только, прощаясь, он благословил меня и передал мне маленькую иконку от мамы. Это был предпоследний раз когда я видела его в жизни. Но его крепко выправленная солдатская фигура, гордо поставленная седеющая голова, твердое умное лицо с неожиданно добрыми детскими серыми глазами — до сих пор, как живые, стоят в моей памяти. И если Бог провел меня невредимой через сотни опасностей — я верю, что именно его благословение и мамочкина иконка (которая и сейчас у меня на груди) спасли меня в буре жизни.

ГЛАВА 4

ПЕРВЫЙ СТРОЙ

Как мы и ожидали, Леля получила свое разрешение не без слез, но без особого сопротивления. В понедельник мы неслись на Петроградскую сторону, как на крыльях. Там, на Торговой улице № 14, на красных кирпичных воротах было коротенькое объявление:

— «Здесь принимается запись в женский батальон.»

Держась за руки, возбужденно смеясь, вошли мы в большую комнату, где было только два стола и два стула. Комната была довольно солидно наполнена женщинами, пришедшими, как и мы, записаться в батальон. Было много девушек, по всей видимости студенток, несколько сестер милосердия, пожилые работницы, светские дамы — словом, много типов, которых я в своем возбуждении не отметила.

Дождавшись своей очереди, мы предъявили разрешения. (Я после узнала, что кое-кто из молодежи просто на просто подделал разрешения — кто тогда мог проверить, настоящая ли подпись отца или матери стояла внизу бумажки?) Незнакомый пожилой полковник, не тот, что вчера, совсем не военного вида, внимательно прочел бумаги и поднял на нас свои умные глаза за золотыми очками.

— Вы, барышни, сознаете ответственность своего решения?

— Да мы ведь, господин офицер, вовсе не маленькие, почему-то обиделась Леля. Она тогда еще не умела различать офицерских чинов и поэтому ее слова «господин офицер», видимо, удивили полковника.

— Я говорю не про ваш возраст, — чуть усмехнулся он горячности моей подруги. — А про ваше решение. Вы собираетесь быть солдатом. Серьезно ли вы подумали о тяготах этой жизни, о возможных ранах, страданиях и даже, может быть, и о смерти?

Ну, конечно же, мы об этом не думали! Держу пари, что даже ни один мужчина доброволец не думает о таких кислых вещах. Тем более об этом не думают молоденькие девушки, опьяненные желанием стать героинями, одеть военную форму и пойти на фронт «доказать этим трусам — мужчинам», что среди женщин есть храбрецы, могущие показать пример, как драться.

Нужно еще добавить, что мой папа, георгиевский кавалер еще Русско-Японской войны, почти никогда не рассказывал нам о своих боевых переживаниях. И мое мнение о войне и ее ужасах я составила себе больше по газетам, журналам и батальным картинкам. Леля и того меньше знала, что-либо о военной жизни. Но, разумеется, сознаться во всем этом было невозможно. Мы с Лелей переглянулись с видом старых вояк и самоуверенно улыбнулись друг другу.

— Да, конечно, наше решение твердо и серьезно, — заверили мы полковника. Да и как в подобных обстоятельствах было ответить?

— Тогда подпишите это вот обязательство, — протянул он нам по листу. Там на пишущей машинке было отпечатано, что я, нижеподписавшаяся, даю обязательство, поступив в батальон, беспрекословно подчиняться введенной дисциплине и назначенным начальникам и после прохождения военного обучения обязуюсь отправиться на фронт и там на положении нижнего чина выполнить свой военный долг согласно присяге российского солдата.

Конечно, сердце у нас немного екнуло в момент подписания такой бумаги, но мы задавили в себе внутреннее беспокойство. Полковник записал все данные о нас — адрес,

год рождения, образование и прочее и велел придти на медицинский осмотр завтра 23 мая в 10 часов утра.

— На всякий случай проститесь надолго со своими родными, — сказал он коротко и на наш полувопросительный, полуиспуганный взгляд добавил:

— Если вы по состоянию вашего здоровья будете приняты в батальон — вы сразу же поступите в распоряжение товарища Бочкаревой для дальнейшего военного обучения.

— Нужно с собой взять что-либо?

— Чем меньше — тем лучше. Только принадлежности личного туалета. Не забудьте, что вы будете на положении рядового солдата Российской Армии.

Мы обе были здоровы «как огурчики» и поэтому нисколько не сомневались, что медицинская комиссия будет для нас только проформой, что мы обе уже приняты и что мы УЖЕ солдаты великой Российской Армии.

Последний вечер дома был и радостен и печален одновременно. Но все таки радости или, пожалуй, оживления — было больше. Ведь что ни говори, у молодости столько розовых надежд на «ЗАВТРА», что сегодня кажется им почти прошлым.

Мама была внимательна и молчалива. Порой мне казалось, что я поступаю бесчеловечно, оставляя ее одну: папа на фронте, Лида где-то около фронта, и я вот, младшая, ухожу от старой мамы (в возрасте 18 лет все человеки за 40 кажутся форменным старичьем) в казарму. Было как-то неспокойно на душе, словно совесть покалывала, но все равно: отступления не было уже ни формально, ни, особенно — морально.

Мы были обе очень нежны друг к другу в этот вечер, чувствуя, что, в конце концов, наша воля играет в жизни очень маленькую, вспомогательную роль, и что мы обе являемся какими-то простыми песчинками в вихре событий... Я многое испытала в своей жизни и в меня давно уже вкоренился этакий фатализм, но фатализм не восточный, пассивный: сидя на ковре, скрестив ноги и попивая кофе, философски ждать событий, а фатализм активный — как говорят во Франции:

«Выполняй свой долг, а дальше — воля Божья...»

В те дни все газеты Петрограда (При императорах он звался Санкт Петербург, после начала войны — более звучно — Петроград, а после смерти Ленина — Ленинград, за что, как говорит анекдот, на том свете Ленину регулярно попадает по шеям от петровской дубинки) пестрели описаниями воскресного митинга. Уж, конечно, везде были портреты Бочкаревой и восторженно расписывалась история ее жизни. Оказалось, что она была простой крестьянкой, даже совсем неграмотной (когда потом нас кололи этим, мы заявляли, что первый в истории мира офицер-женщина — Жанна д,Арк тоже была неграмотной. Господи, как важно звучало это «ТОЖЕ»!). По одной версии она потеряла мужа на войне и пошла заменить его в солдатском строю. По другой — ее личная жизнь и замужество сложились неудачно, и в 1915 году из Сибири она получила личное разрешение Государя на поступление в строй солдатом. В дальнейшем ее история была типична для хорошего храброго солдата. Бочкарева мужественно вела себя в многочисленных боях, участвовала в многих опасных разведках, вынесла на своих плечах многих раненых из огня, несколько раз сама была ранена и, видимо, честно и беспорочно заслужила и свою славу и свои боевые награды. (Кстати армия знала ее под именем «Яшка».

Как я узнала позже, Бочкарева была не единственной женщиной в русской армии. И ее необычайная роль в будущих событиях, ее историческая известность зависила не столько от ее личных качеств, сколько от совпадения благоприятных случайностей. Идея женских воинских частей УЖЕ носилась в воздухе, и Бочкаревой довелось только осуществить ее на практике.

Умное Военное Министерство догодалось назначить в медицинскую комиссию только женщин-врачей. Иначе, право, я думаю, что многие отказались бы раздеваться: женщина всегда как-то стыдится своей наготы.

Но даже и перед женщинами врачами было ужасно неприятно стоять обнаженной и чувствовать холодное прикосновение металлических приборов, сантиметра, всякие выстукивания, выслушивания и пр. Еще, слава Богу, что не было гинекологического осмотра — просто, верили на слово, что в с е в порядке. Краснели мы, как раки... Все это, правда, прошло очень быстро, но даже и теперь я вспоминаю об этих минутах и с улыбкой и с какими-то мурашками прошлых воспоминаний. Но, так или иначе, а это прошло. Комиссия признала и Лелю и меня годными «по всем статьям» и со свертком своего платья, не одеваясь, я очутилась в соседней комнате, заваленной военным обмундированием. Тут началась уже форменная трагикомедия. Из своего личного белья нам разрешено было оставить только... бюстгальтеры. Все остальное должно было быть военным. Господи, какими тяжелыми и неуклюжими казались нам штаны, гимнастерки, сапоги!.. На дворе стоял чудесный питерский теплый майский день, а на нас стали напяливать грубое белье и суконное обмундирование. — Это после легоньких ситцевых весенних платьев то! «Окончательная» трагедия вышла с сапогами, которые оказались, разумеется, на несколько номеров больше средней женской ноги. Сколько пришлось «наворачивать» портянок, чтобы ступня внезапно не повернулась носком к пятке...

Но если сапоги были больше, чем полагается для женщины, то штаны оказались много уже, чем... полагалось. Бочкаревой брюки давно уже шили по особому заказу — она была, как это говорится «ядреной бабой». А нам пришлось «подбирать». Все брюки оказались в лучшем случае в обтяжку, но некоторые, которым природа отпустила особое богатство телес — так и не подобрали себе брюк и первое время обучения так и щеголяли в сапогах,гимнастерках и... собственных юбках.

Сама Бочкарева была вездесуща. Она острым взглядом всматривалась в своих будущих солдат при врачебном приеме, перебегала в комнату, где шумели и возбужденно смеялись одевавшиеся «легионерки» (часто батальон почему-то назывался «легионом») и везде сама шумела и смеялась. Ее крепкая фигура и не менее крепкая «речь» мель-

кали и звучали везде. Мы не сразу привыкли к ее манере выражаться и только впоследствии поняли, что в ее крепких, звучных, красочных выражениях имеется свой резон. В будущем не раз и не два, когда на фронте в горячке боя, сердце падало от ужаса, лицо бледнело, а пальцы на винтовке дрожали и готовы были выронить оружие — во время сбоку прогремевшее крепкое «соленое» русское слово Бочкаревой возвращало бодрость духа и краску щеки. И снова смех звучал среди женщин брошенных в боевой огонь. Нет, как ни говорите, хо-о-роший российский «мат» — во-время и со вкусом сказанный — великая вещь — как перец, соль или уксус для кушанья! Все, конечно, можно переперчить, и все хорошо в меру. Как говорят англичане —

«Подходящее слово в подходящем месте.»

Но то было потом. А тогда была странна эта фамильярность, эти «мужицкие», как нам тогда казалось, выражения, этот «маветон» — «плохой тон». Бочкарева сразу же стала называть всех нас на «ты», по именам, хлопать по плечу, толкала, обрывала и начинала поругивать все крепче, «по извозчичьи», как мы про себя думали. Если кто-либо обижался, курносое крепкое лицо поворачивалось к такой «нежнолапочке» и мужественный голос гремел на всю казарму:

— Ничего! Приучайтесь! Фронт есть фронт, — а вы — теперя солдаты. Без крепкого словца на Матушке России ничего не делается. Штож вы думаете — императоры наши матом никогда не крыли? А не слыхали разве, как граф Лев Толстой ругаться умел? А Петр Великий? А Суворов?.. Ежели я кого дурой обзову — это вот может обидно быть? А мат? Это же для бодрости только... Ничего — вы теперя не бабы, а солдаты. Вот потом я вам расскажу, как в первый раз я в строю штаны шиворот навыворот одела... Или потом мне в бане вместе с мужиками пришлось мыться! Вот было дело под Полтавой: солдат так солдат — никаких тебе исключениев. Хуже было, чем вам теперь — и то притерпелась! Ничего! Держись ребята! Не вешай носа! Наплевать!..

Вскоре после оживления первых часов начались мелкие «трагедии», окрасившие день в резко минорный цвет. Прежде всего — стрижка. Мы как-то раньше не думали, что все рядовые солдаты русской армии должны быть выстрижены наголо. Среди нас было немало таких, кто по праву гордились своими великолепными косами или прическами. Было смертельно обидно с ними расставаться. Правда, Бочкарева и не неволила.

— Ежели не хотите, товарищи, так и не надо, — насмешливо говорила она колебавшимся. — Присяги вы еще не приносили. Можете снимать штаны, влезть в юбку и со славой идти домой, к мамочке под тепленький бочек или хоть к чорту на рога. Нам долговолосых барышень никаких тут не надо. Барский дух я из вас вытрясу!

Я из вашего «слабого пола» еще какой крепкий сделаю! Только держись! Забудьте, что вы женщины. Вы теперя солдаты. Волосья вам теперь ни к чему.

Погодите, вот попрет на ваш волос окопная вша — попомните, и скажете: слава Богу, что остригли!

Перспективочки, нечего сказать! Но Бочкарева, видимо, нарочно оглушала нас. Ведь запись перевалила цифру в несколько раз.

Было ясно, что д о л ж е н быть какой-то «отсев». Вот наша командирша и вышибала наиболее слабых духом.

Нужно сказать, что и мне что-то подкатило к горлу, когда впервые в жизни над ухом послышался противный скрежет больших ножниц и мои светлые локоны (в них так любил лицом зарываться мой Жоржик. Он обожал мои волосы...) упали на пол — такие жалкие, такие теперь ненужные, словно лишние... Вероятно, мои глаза были влажны, так как Бочкарева, проходя мимо, шутливо шлепнула меня по отриженной голове и насмешливо, но с каким-то дружеским участием, бросила свое «крепкое слово» — с такой сердечной интонацией, что я почувствовала к ней искреннюю благодарность за «душевную поддержку». Странное дело, формально она меня обругала так, как меня никто никогда в жизни не ругал, а на практике — я была тронута ее вниманием... Парадокс жизни! Потом крепкая фигура командира бомбой выле-

тела в другую комнату, а я, поглядев на свои лежавшие на полу локоны — впервые — больше, чем при подписании обязательства, почувствовала, что с прошлым все кончено и что действительно в моей жизни безповоротно началась какая-то новая эпоха.

Потом нас, остриженных, страшных (другого слова и не подобрать) в мешковатом солдатском обмундировании, группами повели в казарму. Надо признаться, что мы с Лелей все время тянулись друг к другу: было не то что страшно на душе, но нужна была какая-то опора, что-то знакомое, родное, в этом новом мире и в этом хаосе новых переживаний. Было так приятно переглянуться, дотронуться друг до друга и словно сказать без слов: «держись, дорогая! Голову выше. Ничего»...

Отведенная нам казарма была раньше женским институтом. В длинных залах к нашему прибытию уже стояли длинные ряды заправленных по-солдатски коек. Позже мы узнали, что к нам на первое время были прикомандированы для обучения особо выбранные унтер-офицеры и несколько солдат-обслуги из соседнего Волынского полка. Оттуда-же нам приносили и пищу.

Очередная «трагедия» более, впрочем комичная, произошла, когда вездесущая, ругающаяся, звонко-хохочущая и «свирепая» Бочкарева нашла в шкафчике одного из своих солдат... зеркальце.., Что тут было?... По моему, каждый солдат, даже самый распронастоящий, может иметь при себе зеркальце — ну, хотя для того, чтобы завивать рекомендующиеся каждому уважающему себя солдату усы. Но тут Бочкарева использовала этот мелкий случай, чтобы выбросить из шкафчиков все принадлежности женского туалета — зеркальца, пудру, румяна, гребни (это при остриженных-то волосах?), духи (даже такие вещи нашлись в глубинах шкафчиков!). Она так разошлась, что готова была заодно выбросить даже и зубные щетки. В ее глазах так ясно сквозило:

— Я вам и сама при случае съумею зубы начистить! Будьте покойны!...

Временно, до появления настоящего цейхгауза, личное женское платье было оставлено при каждом, каждой... (Тьфу,

как трудно: солдат, солдатка. Буду в дальнейшем называть себя и других только солдатами). Это было каким-то странным утешением для сердца каждой... каждого солдата, что-то «родное», привычное. И не раз украдкой (избави Бог, чтобы Бочкарева не заметила!) руки гладили мягкую ткань женского платья. После этого прикосновение к грубому солдатскому сукну было отвратительным. А как воротники скребли нежные шеи! А как сапоги натирали непривычные ноги? Теперь мне смешно вспомнить об этом, но тогда, смею вас уверить, все это сильно снижало настроение...

На первом обеде опять разразилась буря. Бочкарева заметила, что кое-кто из новичков, привыкшие, очевидно, дома к изысканной еде (среди нас было не мало титулованных особ — были и графини и княжны) попробовали и «незаметно» пытались отставить в сторону свои миски. Но глаза у Бочкаревой были пронзительные.

— Как? Вы воротите носы от честного солдатского борща, — загремела она. — А что-ж тогда будет на фронте, когда порой, может, и корочки сухого хлеба не достать? (так одно время и случилось). Кто вы такие — солдаты или кисейные барышни? Я из вас мигом выбью барскую дурь. Мигом мне съесть все до дна! Чтобы и крошки не осталось!...

Теперь я не могу удержаться от улыбки, вспоминая все эти внушения нашего милого командира. Но тогда, помню, все лица над мисками замерли, все замолкло, глаза были потуплены. «Солдатская жизнь» переставала казаться занимательной боевой игрой в «герои»...

— Теперь марш по койкам, — скомандовало наше начальство после обеда. — Час покоя и чтобы без одного слова! Кто сможет — усните: солдат должен уметь спать в любой момент: лежа, сидя, стоя, на-ходу, в окопе, на снегу, в грязи, под обстрелом, головой на теле врага — везде... После обеда первые строевые занятия. Ма-а-ааарш!...

Мы лежали, притаившись, как мыши под метлой, целый час, длинный час. Сна, конечно, никакого не было. Мысли играли в форменную чехарду. События уже влекли нас своим фатальным путем. Наша воля уже совсем потеряла свое значение. Мы были уже только мелкими капельками серого солдатского моря. Незаметные единицы в массе из 13 миллионов людей, одетых в солдатскую форму...

ГЛАВА 5.

БУДНИ УЧЕБЫ

Как мы позже узнали, запись в батальон достигла 3.500 человек. Но... одно дело запись под влиянием возбуждения, другое дело — решение на следующий день. В общем, явилось на сборный пункт уже меньше, а после приема, отбора, медицинского осмотра, в казарме очутилось около 2.000 женщин в возрасте 18-35 лет. Трудно сразу сказать, из кого состояли эти 20 сотен молодых женщин. Как я уже писала, было немало титулованных особ, очень много студенток (курсисток, как их тогда звали. Нужно сказать, что в России в 1878 году был основан первый в мире женский университет — «Высшие бестужевские курсы»), много было также и сестер милосердия. Не знаю, какой именно процент, но много было также и простых вдов, мужья которых погибли на фронте. Крестьянок в Питере набрать было трудновато, но была не одна сотня солдат, лица и фигуры которых были так схожи с Бочкаревой, что в их крестьянском происхождении трудно было сомневаться.

Любопытно, что было немало девушек и дам из состоятельных и знатных фамилий, которые очутились в батальоне вместе со своими бывшими кухарками и горничными. Вот уж подлинно демократический батальон вышел...

Было очень и очень нелегко привести «в христианский вид», в военное обличье эту пеструю, «многоплеменную» массу». Бочкарева не желала пускать мужчин дальше плаца для

военных занятий. Она резонно хотела обходиться только своими силами. Канцелярия, правда, была временно в ведении нескольких пожилых офицеров из военного министерства, но внутренный распорядок должен был быть налажен нами самими. Неудивительно поэтому, что солдаты, вышедшие из военных семей, как например я, сразу-же выдвинулись на командные посты.

При первом-же осмотре моего «зала», впоследствии помещения второй роты, Бочкарева наметанным взором заметила аккуратность моей постели, шкафчика, обмундирования. Надо еще сказать, что наш папа всегда обращал внимание на нашу выправку, как если бы мы были сыновьями, и это тоже привлекло внимние командира.

— А ты что — видно, где строй проходила?

Я вытянулась по-военному.

— Так точно, Ваше Благородие, проходила. Строй, лагерную жизнь, походы, умею командовать.

Мои соседки с удивлением воззрились на меня, но Бочкарева улыбнулась, очень довольная.

— Молодец! А то меня тут стали просто «товарищем Бочкаревой» звать. Солдаты, — возвысила она голос, — меня в строю и по службе нужно звать: «товарищ командир». А ежели просто по душам тогда, Марьей Леонтьевной, — я не гордая... Понятно? А ты, где строй проходила? — снова повернулась она ко мне.

— В первом петроградском отряде герл-скаутов (в России так назывались герл-гайды).

— Чего, чего? — опешила Бочкарева.

— Скауты. Эта такая организация молодежи.

— Ага, — вспомнила Бочкарева. — Это которые без штанов с палками ходют? Тааак, значится, там?

— И кроме того, мой отец — боевой полковник, теперь на фронте. Он приучил меня к военному распорядку.

— Добре. А как тебя зовут?

— Нина Крылова, товарищ командир.

— Добре. Ну ты будешь тут у меня, Нина, командиром взвода. Вроде как сразу унтер-офицер. Я, чтобы лычки заслужить, два почти года пот и кровь проливала, свою и чу-

жую, а ты, видишь, без году неделя. Хорошо иногда бабой-то быть...

Круглая простая физиономия нашего командира сияла благодушной улыбкой.

— Значит, ты мне здесь помогать будешь. Крой всех почем здря, делай из них заправских солдат. А еще вот нужно мне адъютанта, чтоб учет завел, да с газетчиками, да с иностранцами объясниться мог. А меня тут все обступают — дыху нет. А их всех тоже ведь на легком катере к чортовой матери не пошлешь — они нам пользу, рекламу приносят. А мы ведь для шуму-то и существуем.

Я еще с утра познакомилась с высокой крепкой Мусей, дочерью знаменитого героя русско-турецкой войны, адмирала Скрыдлова.

—Да вы, товарищ командир, возьмите Магдалину Скрыдлову. Она хорошо грамотная, тоже из военной семьи и языки хорошо знает.

— А это, может, из каких аристократок? — Простое лицо Бочкаревой презрительно скривилось. — Не люблю я белоручек. А ну ее к шуту. Я сама простая и простых людей люблю.

Как раз в эту минуту из соседнего зала донесся высокий чистый голос Муси, разучивавшей с подругами, виноват, с товарищами солдатскую песню «Бородино».

— Вот, если бы эта высокая, которая поет, подошла? Хорошая, кажись, девка!

— Да это и есть Скрыдлова, товарищ командир...

Так Муся была назначена адъютантом батальона. Мы впоследствии с нею еще больше подружились и вместе прошли весь страдный путь нашего батальона. Она была что-то около 8 раз ранена, также, как и я, заслужила боевые награды и была произведена в поручики. Еще недавно я имела радость встретит ее в Брюсселе, такой же живой, энергичной и готовой хоть сейчас опять в бой за Россию. Что ни говори, а батальон проверил многих. И кто вышел из этой перековки с честью, оказался Человеком с большой буквы. Или, как весело говаривала Бочкарева, «есть за что подержаться!»...

Первые строевые занятия были почти целиком заняты речью командира батальона. На большом дворе мы выстроились по-ротно — уже было составлено 8 рот — два батальона. Вид был смешной, но, право же, импозантный. Надо полагать, что извне мы представляли собой смешную картину — две тысячи молодых женщин в солдатской форме, не пригнанной и не привычной, с остриженными головами (ах, эти головы — в зеркале трудно было узнать самое себя). Но ни у кого не было и тени улыбки — даже у двух десятков молодцоватых подтянутых унтер-офицеров — волынцев.

Бочкарева «в полном параде»: в своих блестящих новеньких погонах и сиянии своих боевых орденов, вышла на средину прямоугольника.

— Товарищи, — начала она своим громким отрывистым начальническим голосом. — Я еще раз обращаюсь ко всем вам с предупреждением: еще не поздно уйти из наших рядов, хотя и без волос. Солдатская служба — тяжелая служба, особенно для женщины. Уж я то испытала это на своей собственной шкуре. Но если вы взялись за гуж — нужно будет держаться прямо до самой невозможности. Так что, ежели есть, которые хочут уйти — пущай обратятся ко мне теперь же, потому как дальше будет еще круче. Мне нужно из вас быстро домашнюю дурь выбить. Для солдата казарма должна быть родным домом. Про все домашнее баловство забыть нужно. Жучить я буду — страх. Не потому, что Бочкарева такая свирепая баба, а потому что нам на фронте слезочки, сюсюканье, да ахи, да охи не надобны. На душе должны солдатские мозоли быть. Я вот на душу вашу мозоли и набиваю. И на ухи — тоже, потому что я ругаться буду по-солдатски и вам тоже советую. Увидите на фронте сами, как частенько крепкое слово упавший дух ворочает. Так что поблажки не ждите. Буду жучить, греть, что надо. Дыху не дам ни лентяям, ни нетенькам, ни белоручкам. Если надо будет, морду чистить буду. Хоть это по уставу и не полагается, но для пользы дела все можно...

Тут она по просту, «по-солдатски» облегчила нос пальцами, важно достала платок из кармана, утерлась и, не торопясь, спрятала платок в карман. Никто не улыбнулся. Было не до того.

— Вы сами должны понять, товарищи, — важно продолжала Бочкарева, — что я в месяц никак из вас взаправдешних солдат сделать не смогу. Но и не это важно. На фронте вы все Рассе не как убивцы нужны, а как пример дезертирам — мужикам, это вот, де, до чего дошло: бабы взялись за винтовку, свою Родину защищать, если мужики дрогнули. На то мы и называемся «женский батальон смерти». Может, нам всем даже и погибнуть придется, но пущай наша кровь Родине послужит.

Ежели придется в деревянном пальте землю грызть — то хоть бы не даром — для ради Матушки Рассии.

— Один какой трус нам на всю Рассею сраму наделает. Так что мне не так ваша стрельба, как дисциплина и образцовое поведение нужно... Вот еще есть, наверное, многие, которые хочут поскорее в отпуск, на улице да дома мужскими штанами повертеть, похвастаться. Имейте в виду, что цельный месяц никто никуда отсюда не выйдет. Если какие свидания, то тут и с моего разрешения. Посылок ни откуда не разрешаю получать — все солдаты равны. Денег — не больше 3 рублей на рыло. Курить ежели кто хочет, пожалуйста, даже рекомендую. В окопах курнуть — первое дело. Пока тут будете строй и словесность проходить. Скоро и винтовки вам будут. Лучшие унтер-церы, волынцы, с вами заниматься будут. Но упаси вас Бог кому глазки делать — за это буду выставлять в полтора счета, а мужик мигом на губу пойдет... Так и знайте, товарищи, может, Бочкарева неплохой человек и неплохой товарищ. Не здря меня простая солдатня любит — все «Яшка» да «Яшка»... Но Бочкарева — командир — не приведи Господь, какая язва! Так что, товарищи-бабы, держись крепче, не хныкать. Помните, как Суворов говорил: «трудно в учении, легко в походе». А перед вами поход, фронт, бои, может, и смерть. Голову выше, ребята... А если кто чувствует заранее, что кишка тонка, не выдержит — скатертью салфетка. Нам поменьше, да получше нужно. В конце июня — присяга, а потом — на фронт. Которые потом ушедши, дезертиры, — под суд по законам военного времени...

Сколько уже лет прошло, а это первое наставление нашего милейшего командира до сих пор звучит в ушах. Хо-

рошо она тогда сказала перед строем: прямо, мужественно, искренно... И правда, в тот же вечер больше ста женщин попросили их выписать. Но их не провожали шуточками или насмешками. В глубине души каждой из оставшихся мучительно зудел вопрос: «а выдержу ли я сама такую жизнь?».

В следующие дни Бочкарева стала сама увольнять десятками. Несколько солдат припрятали пудру — вон. Шляпку повесила над кроватью на гвоздике — тоже вон. Кое-кто не выдержал, перемигнулся с бравым инструктором — вон сразу же без объяснений. Недостаточно вежливо ответил, небрежно оделся, не вышел на занятия по женским причинам, откуда-то получил пирожные, завизжал, увидев мышь, — вон, вон, вон... У одной при проверке под мужскими кальсонами (самая отвратительная штука в мире) оказались кружевные панталончики — вон. Не сразу утром встала — вон. Хихикала во время мертвого часа — вон, не выдержала, всплакнула — вон... Так же свирепо тянула Бочкарева и унтер-офицеров. Но если в первое время эти мужчины, в большинстве своем бравые георгиевские кавалеры, плохо скрывали под усами насмешливые улыбочки, то и это скоро перевелось. Мы относились к своим обязанностям с такой искренней добросовестностью и 80% из нас так превосходили по культурности этих самых унтеров, что уже через несколько дней мужчины занимались с нами с искренним удовольствием.

Конечно, во всем этом было так много комичного, особенно для боевого старого солдата. «Бабий строй»... Я и сама теперь не могу многого вспомнить без смеха, например, линию грудей в строю. У мужчин эта ровная линия получается легко, а попробуйте ее установить у нас, если у каждой грудь на свой лад? С ростом было еще легче, но линия грудей, гордость всякого строя, всегда представляла у нашего батальона криво-ломанную линию. Многие солдаты имели, что называется, «Божью благодать» — бельфамистую высокую и полную грудь, которая в женском платье была «у места», но в мужской гимнастерке выглядела особенно демонстративно. А при упражнениях в беге — получалось такое колыхание, что даже Бочкарева не могла удержаться от смеха...

На наше счастье никто не мог наблюдать вблизи наших занятий. Только изредка из окон соседних домов можно было сквозь деревья в бинокль видеть двор нашей казармы, и готова держать пари, что хозяева этих окон дорого продавали эти места, как на спектакли...

Мне и Леле все эти строевые занятия не были трудны — нас уже «обломали» скаутские отряды. Но остальным, не видевшим никогда в жизни строя, было нелегко, особенно, когда команду принимала сама Бочкарева. К их счастью, ей приходилось «фигурировать» на тысяче и одном митинге, говорить зажигательные речи. Она, кажется мне, все больше и больше начинала верить, что ей суждена историческая роль спасительницы России. Но и верно — в те сумасшедшие времена все могло быть, тогда судьба России висела на волоске. Если бы Бог дал России тогда более сильного, чем Керенский и политически более опытного, чем генерал Корнилов — может быть, не писала бы я этих строк, живя вдали от любимой родины...

Мы мало в тот период следили за политическими событиями. Приходилось страшно уставать физически (нас гоняли здорово — «барский жирок вышибали»), да и других забот был полон рот. Особенно у меня с моей головокружительной карьерой... Только и знали мы, что с фронта идут сведения самые неутешительные. Знаменитое наступление «Керенского» началось и сразу же остановилось — фронт не поддержал выступлений ударных частей. Опять наступило затишье.

Советы и большевики расшатывали душу фронтового солдата все больше и глубже. Чтобы поддержать боевую силу фронта, кто-то, очень неумный, надумал собрать лучших солдат в отдельные «ударные части». Таким образом, полки, лишившись своей опоры, своего костяка, стали слабеть еще больше. Массовое дезертирство еще не началось, но массовое неповиновение уже было постоянным явлением. Создавшиеся в каждом полку комитеты обсуждали решения командиров и выносили резолюцию о том, следует ли их выполнять. Солдаты еще стояли на фронте, но драться уже не хотели. Керенский, принявший на себя звание Главноко-

мандующего (никогда не бывши даже солдатом), но ставший на самом деле «Главноуговаривающим», носился по фронту и произносил свои речи. Но многомиллионная солдатская масса, усталая и изверившаяся, с большей охотой прислушивалась к речам большевиков: те обещали рай сразу же, конец войне, возвращение домой, дележ помещичьей земли (по 10 десятин на брата), раздел капиталов (по 20.000 рублей на каждаго — пойди проверь)... И что вообще, ежели сбросить «кровопийц», то нужно будет работать не больше 4 часов в сутки и все будет в порядке — сыты, пьяны и носы в табаке. Россия плохо живет, потому что «царь кровавый» с помещиками и капиталистами сосут кровь трудящихся, а вот сбросим их и будет рай земной... А для того, чтобы сбросить их — «долой войну» и «вся власть советам!»...

Программы такого сорта и такие лозунги были понятны каждому простому сердцу и каждым нехитрым усталым мозгам. Никто другой не мог так беззастенчиво врать и обещать. А противопоставить всему этому большевицкому злу было нечего. Или, может быть, не нашлось никого, кто бы противопоставил что-либо ясное. А за такую пропаганду, увы, никого не вешали!..

Ореола Императора не было. Временное Правительство все резче показывало свою слабость в бою с советами. Немцы, разумеется, широко пользовались бездействием русских армий, перебрасывали свои части на западный фронт, широко «братались» и спаивали целые русские части. Выпущенная Лениным газета «Окопная Правда» шла чуть ли не миллионным тиражем и раздавалась бесплатно. Откуда большевики брали такие деньги, можно было только догадываться, хотя и без догадок это было всем ясно. Недаром же ведь прозорливый генерал Людендорф, начальник штаба германской армии, разрешил Ленину с его товарищами во время войны проехать из Швейцарии в Россию через Германию. Он знал, что делал. Для него Ленин и его большевики были лучшими союзниками . . .

А мы, между тем, тренировались совсем всерьез. Часов по шесть в день уходило только на один строй, нужно было «обломать нашу городскую деревенщину», как не без през-

рительности говорила Бочкарева. «Словесность» приходил нам преподавать какой то полковник из Генерального Штаба. И надо честно сказать — уже после нескольких дней военного обучения мы все начали чувствовать себя что «МЫ уже МОЖЕМ»... Появилась не только уверенность в своих силах, но и какая то гордость. Все мы знали, что наш «женский батальон смерти» — первая в истории воинская часть (после легендарных эскадронов амазонок, которые, по рассказу Геродота, выжигали себе правую грудь, чтобы лучше владеть оружием, и раз в год выбирали из взятых в плен мужчин себе мужей). Мы УЖЕ начинали чувствовать, что мы будем, хоть, может быть, и не очень первоклассными, но все же солдатами. Те из нас, кто обладали известной культурой, начинали все ярче чувствовать, что неожиданный исторический экзамен мы, женщины, УЖЕ начинаем выдерживать и что даже в сфере военной, вековой прерогативе мужского пола, мы можем им, мужчинам, не уступить. Если и не в физической силе, то в организованности и в силе духа. Это ощущение окрыляло нас. Да и в самом деле — я обращаюсь теперь к мужской объективности — разве не ставили нас, женщин, веками в подневольное положение? Разве не запрещали нам учиться, идти вперед, разве не делали нас ТОЛЬКО предметом роскоши, матерями, хозяйками, подневольными рабынями?.. Как можно было прогрессировать, обогащать свой ум и свою душу, когда «нормально» от девушки требовалось в 18 лет выйти замуж и быть производительницей — каждые полтора года рожать детей? Мудрено ли, что в таких условиях женщина оставалась позади?

Но революция уже произошла — женщина завоевала себе права, которых она была лишена в течение тысячелетий — ПРАВА РАВНОГО ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА. Женщина уже никогда не уступит своего права на образование, на свою жизнь, на свое сердце, на возможность рожать, когда ОНА этого хочет, строить жизнь по своим планам, а не по планам мужчины. И скоро мир увидит, кто духовно выше: мужчина с его упрощенным грубым умом и черствой душой или женщина с ее чуткостью, впечатлительностью и гуманностью. Если тысячелетиями воспитывать женщину, как рабу или

как полурабу (еще Наполеон презрительно отозвался о женщине, что «природа создала их быть нашими рабынями» и что «самая замечательная женщина — это та, которая имеет наибольшее количество детей»), если устроить весь мир специально для удобства «сильного пола», если отодвигать желания и нужды женщин на второй план, если создавать для женщин законы руками мужчин, — немудрено, что подлые немецкие «четыре К»: Кюхе, Кирхе, Клайдер, Киндер. — кухня, церковь, одежда и ребенок тысячелетиями давили женщин, не пускали дальше рамок кухни, дома, пеленок и чинки мужских штанов. Но женщина УЖЕ добивается полного равенства, уже стремится хоть немного облегчить себя от тяжкого бремени биологического долга, навьюченного нам материнства. И скоро способности женщины помогут ей стать на один уровень с мужчиной и кое где даже стать выше его!

Конечно, женщина никогда не будет хорошим профессиональным боксером или грузчиком, но разве это теперь нужно для жизни, когда человеческие мозги придумали все, чтобы сделать мужскую физическую силу практически ненужной в жизни... Ах, впрочем нет, беру свои слова обратно. Мужская сила нужна, чтобы нас женщин, баюкать на руках! Мужчина который не может поднять на руки свою любимую, недостоин звания мужчины и не имеет морального права жениться! Вуаля!.. Выкусили, товарищи в штанах?!? *)

* * *

Итак, мы занимались строем и словесностью — Бочкарева обламывала нас совсем всерьез, и, действительно, наш батальон из «бабьего строя» стал превращаться во что то, похожее на воинскую часть. Бочкарева не стеснялась вышибать балласт — каждый день летели за двери «непотра-

---

*) Все мои мужчины — Жора, Горя и даже мой друг писатель Солоневич — все были за то, чтобы этот пассаж выбросить из книги — это, де, тормозит динамику рассказа и и все такое. Знаем, мы эти мужские штучки: как только укол по мужскому самолюбию — так сразу и выбросить! Я настояла, чтобы это все вошло в книгу!

фившие» ей женщины, но таких становилось все меньше и меньше: мы старались во всю, со всей охотой и старательностью. Любопытно, что Бочкарева, сама очень религиозная, сразу же ввела регулярные молитвы, а в воскресенье к нам приходил полковой священник служить обедню. (В церковь даже строем Бочкарева нас еще не решалась водить). Не могу не отметить, что особенно вечерние пропетые молитвы чрезвычайно дисциплинирующе действовали на самых вольномыслящих. Тишина зала, женщины утомленные от трудного дня, полумрак, короткие приказы на завтра и потом прекрасное пенье «Отче Наш» и «Царю Небесный» как то смягчали и успокаивали душу. И мы ведь знали, что приблизительно в это время ВСЯ Российская армия — эти 13 миллионов людей, одетых, как и мы, в военные шинели, вверяют Творцу свою судьбу об их маленьком личном счастье, о мире и спокойствии своей души и Родины и о сохранении жизни в очередном бою... В эти незабываемые минуты над мощным инстинктом Родины поднимался еще высший — преклонение пред Творцом: «Да будет воля Твоя». Именно эта фраза снижала нашу горделивую мысль о том, что мы — герои, до скромной мысли, — что мы все — слабые дети Бога и только маленькие слуги своей страны...

Нужно еще добавить, что пел наш батальон прекрасно. Много было чудесных голосов для запевал — начиная с Муси Скрыдловой, и хоровые песни мы пели с упоением. Бочкарева очень одобряла это пение, хотя мы всегда старались отвлечь ее от участия в нем — она пела, как скрипучая несмазанная телега, грубым мужским «пропойным» басом. Думаю, что минуты, когда мы все собирались «попеть» — были одними из счастливейших в нашей казарменной жизни.

«Словесность» далась нам легко.. Вероятно, 90% из нас были хорошо грамотными, процентов 50 — со средним образованием, процентов 25 — курсистки. Был один врач, три «поповны» и даже бывшая монахиня. Почему она была «бывшей» — не могу и сказать. Да, совсем забыла сообщить, что у нас в батальоне оказалось до 30 георгиевских кавалеров — правда, с медалями за храбрость — все сестры

милосердия. Оказалось, что две таких медали были и у Муси Скрыдловой: она уже не раз бывала на фронте, на передовой линии. Георгиевские кресты были только у «отца-командирши» Бочкаревой. Господи, как мы завидовали с Лелькой этим «георгиевцам»! Черно-оранжевая ленточка казалась верхом славы и величия. Наполеон показал себя великим психологом, когда обронил: «За красивую пуговицу человек пойдет на смерть»... Пусть это грубо и утрировано сказано, но «что-то» есть резонное в этой мысли.

Лично я работала, можно сказать, с остервенением: положение взводного обязывало. Я раньше других вставала и позже ложилась, ох, где была прежняя нега в мягкой девичьей постельке!... Мы все словно помешались на «лучше, чем у других», а Бочкарева только подзадоривала это соревнование. Я должна с гордостью сказать, что мой взвод скоро стал самым лучшим. В связи с этим Бочкарева не жалела чинов и отличий; уже через две недели я носила лычки старшего унтер-офицера. Так же, как «на дрожках», выдвигались: мой ротный командир княжна Татуева, тоненькая, всегда бледная, всегда выдержанная, никогда не смеявшаяся, «невыносимо воспитанная», как втихомолку о ней отзывалась Бочкарева; крупная, энергичная и боевая Муся Скрыдлова, крестница Государя; веселая хохотушка Оля Прохорова, убитая в первом же бою, и, наконец, массивная Тася Дубровская, так сказать, — прирожденный командир, которую все слушались — порой и сама мать-командирша. Все это были будущие офицеры.

Карабкалась вперед и моя Леля, но только потому, что я ее сама вытягивала наверх. При ее прочих великолепных качествах — храбрости, самоотверженности и дисциплинированности, Леля была, что называется, «индивидуалистом» — командовать другими она не умела...

Мы — я, Леля и Тася очень сошлись. Нас называли то «три мушкетерши», то «трое бойких», то «дикая дивизия»... И в самом деле — дикой веселой энергии у нас было — хоть отбавляй... И, чорт побери — нам всем очень хорошо было БЕЗ мужчин — пап, братьев, женихов, мужей и прочих «долгоштанных» представителей «сильного пола». Мы отнюдь не чувствовали себя «слабенькими»...

Постепенно самую крупную роль после Бочкаревой стала играть Муся. Не только потому, что ее отец был известен всей России, но и благодаря ее личным «командирским качествам», необычайной энергии, жизнерадостности и знанию языков. Ее отец, будучи во время Турецкой Войны 1877 г. за освобождение славян, еще лейтенантом, как-то на Дунае, с совершенно безумной смелостью бросился в атаку на турецкие мониторы (тогдашние броненосцы) на простой шлюпке, вооруженной минами, прикрепленными к длинным шестам. Этими минами он не потопил мониторов, но наделал так много грому и огня, что те решили убраться по добру, по здорову. По секрету говоря, Мусе было только 17 лет. Но представительная наружность и имя отца — они вместе пришли записываться — помогли ей смазать вопрос о возрасте. Впоследствии, после ранения Бочкаревой, она стала командиром батальона.

* * *

Среди других ярких впечатлений особенно врезалось в память первое в жизни ощущение «своей винтовки». Это было просто упоительно... Во время великой войны в русской армии было три рода винтовок. Военное министерство оказалось достаточно умным, чтобы не дать нам самый легкий тип. От легкой винтовки-карабина отдача была так сильна, что наши нежные непривыкшие плечи были бы «вне боя» после нескольких десятков выстрелов. Нам дали более тяжелые «кавалерийские» винтовки, которые имели меньшую отдачу (чем легче оружие — тем сильнее отдача от выстрела боевым патроном). Но напрасно Бочкарева строго на строго приказала после распределения их и первой чистки не брать их в руки. Я, образцовый, можно сказать, взводный, выставив против налета своего же командира «сторожевое охранение», разрешила всему своему взводу няньчиться с винтовками. Да, действительно, мы няньчились с оружием и как восторженные дети с игрушками и как заботливые матери со своими детьми. (Да, чтобы не забыть — у нас в батальоне было несколько настоящих матерей — вдов офицеров, которые оставили своих детей, чтобы пойти отомстить врагу. Как было странно думать — «солдат-мать»)... Итак, мы провели несколько вчеров в рассматривании, щел-

кании, упражнениях, прицеливании и прочих радостях совсем детского типа. Конечно, никто из нас не подумал ни на минутку; что это — орудие смерти, что, может быть, из этого вот именно дула вылетит «пуля смерти», а этот вот острый штык войдет в человеческое тело... Мы просто наслаждались данной нам новой игрушкой, хотя все психологи говорят, что пристрастие к оружию — чувство специфически мужское.

Смешно вспомнить — первый вечер с оружием был несомненно самым счастливым в жизни нашей казармы. Эта выдача оружия была как бы признанием со стороны Родины наших прав и обязанностей настоящего солдата.

Более впечатлительным казалось, что истомленная Россия вручает нам дрожащими руками оружие и с налитыми слезами глазами умоляет о спасении. И все мы были полны горячим желанием показать себя достойными этого доверия и этой немой мольбы.

Первый сон около стоек, где ровными рядами стояли винтовки, был особенно глубоким и радостным. Я заметила, что не раз и не два мои солдаты ночью поднимали головы, окидывали внезапно оживившимися глазами стойки с оружием и опять засыпали со счастливой улыбкой на лице. Без оружия мы были неудачные, смешные кандидаты в солдаты — скорее каррикатура, чем солдаты. Но с винтовкой в руках мы становились полноправными защитниками своей любимой Родины.

ГЛАВА 6.

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ

Дни нашей учебы мчались как ураган. Мне теперь даже трудно выделить из массы пестрых впечатлений, что-либо особенно заметное. Все было полно яркости и напряжения в те летние дни 1917 г. Нас всех окружала какая-то лихорадочность, какое-то сознание, что мы куда-то с неудержимой фатальностью катимся. Но куда именно — никто не мог ни понять, ни объяснить.

Ярко в памяти осталось мое свидание с папой в казарме. Он пришел — я случайно видела его появление из окна казармы — пришел в полной военной форме со всеми своими боевыми орденами. Леля, как раз стоявшая на посту у главного входа, радостно зарделась и с особенной отчетливостью отдала ему честь. Я глядела из окна — не без внутреннего смеха, как папа серьезно ответил ей на военное приветствие, внимательно и неторопясь оглядел со всех сторон первую на его веку женщину-солдата. Право, он даже зашел сзади (Леля стояла молодцом-истуканом, по суворовски). И мне было очень приятно, когда папа, опять повернувшись к неподвижной Леле, с видимым удовольствием, еще раз поднес руку к фуражке.

(Это не то, что Керенский, который ухитрялся подавать

руку часовым, стоявшим на посту с винтовкой и лускавшим семечки.)

Разумеется, я легко получила разрешение Бочкаревой на свидание с отцом. Мы мало говорили на личные темы; я больше отвечала на его вопросы о баталионе. Но я чувствовала, что он доволен — и всем виденным в казарме и лично мной. Мы попрощались, как прощается боевой полковник с молодым солдатом — почти дружески, но без фамильярностей. Но в его глазах — добрых, серых, чуть-чуть грустных, — я уже тогда прочла что-то трагическое... Судьба дала мне радость еще раз увидеть папу перед... перед его трагической смертью. Я не знаю и, вероятно, не узнаю никогда, КАК именно он погиб — но ЗНАЮ всем сердцем, что он погиб на своем боевом посту гордо, с достоинством и не дрогнув... по-солдатски, по-русски...

Как милая картинка, запомнился мне еще мой первый отпуск в военной форме. Бочкарева давала его после трех недель обучения далеко не всем — только особо хорошим строевикам и дисциплинированным солдатам. Как я уже говорила — я была на прекрасном счету. Но все же перед тем, как разрешить отпуск, наш командир сказал очень серьезно и очень сурово:

— Имейте в виду, товарищи, (в те времена слово «товарищ» не имело такого специфического советского оттенка. Оно было хорошим свежим словом, радовавшим сердце).

Имейте в виду, что мы не столько военная, сколько маральная сила (она так всегда и говорила — «мараль»). От вас ждут не столько хорошей стрельбы, сколько дисциплины, выдержки, серьезности. Ясное дело,во время отпуска на вас все глаза будут пялить. Будьте спокойны, не задирайтесь, если кто будет приставать, но в морду дать, если будет нужно — давайте без всякого стеснения. Хоть бы даже потом избитой или даже убитой быть! Для вас УЖЕ фронт! Среди солдатской питерской босячни — вы УЖЕ должны быть примером. Честь нашего баталиона держите высоко. И не забывайте ни на секунду — вы не женщины, а солдаты! Кто посмотрит на вас, как на бабу или обойдется, как с бабой — лупите в морду без разговоров. Я сама знаю

по опыту — это лучше всего доказывает, что вы не бабы. Иначе многие мужики этого не поймут... Словом, ребята, не подкачайте!..

В первый раз осматривала Бочкарева нас, отпускных, чуть ли не целый час. Придиралась ко всему, — к каждой складке, к каждому пятнышку. Но зато действительно выпустила за ворота не солдат, а картинку. Кстати, к тому времени военные портные подогнали нам обмундирование по мерке, и только бедра и бюст выдавали нашу женскую тайну. Нужно сказать, что мы все словно стыдились своей груди и старались, как можно туже, стянуть ее бюстгальтером. Не раз на занятиях из-за этого бывали обмороки и Бочкарева ругалась тогда «предпоследними словами».

Нервно смеясь, вышли мы с Лелей из казармы, предъявили наш отпускной номерок дежурному и, наконец, очутились на свободной улице. Первые солдаты женского батальона на питерских улицах — и впрямь историческое событие!..

Нам были даны приказом по военному округу особые погоны — белые с красным просветом. Это одно останавливало внимание всех военных. Мы уже лихо откозыряли двум встретившимся офицерам, как неожиданно из-за угла на нас вышел старик генерал. Мы четко стали ему во фронт.

Нужно сказать, что приказом № 1 советов рабочих и солдатских депутатов отдание чести вне строя и, тем более особое для генералов, было отменено. Но Бочкарева наказывала нам строго на строго оставаться верными старым дореволюционным военным правилам и даже, по мере возможности, подчеркнуть это в пику к начинающейся распущенности тыловой солдатни. Тем более наш «фронт» поразил старика. Он ответил на приветствие и подозвал нас к себе.

— Спасибо, молодцы!

— Рады стараться, Ваше Превосходительство, — дружно ответили мы. (Ох, Бочкарева нас здорово вышколила!)

Генерал заметил необычного цвета погоны и, вероятно подумал, что мы из какого-нибудь нового кадетского корпуса; тем более, что мы с Лелей — небольшого роста и были похожи на мальчиков розовыми щеками и юношески-округлым телом.

— Кадеты? Какого корпуса?

— Никак нет, Ваше Превосходительство, — ответила я, как старшая, опять поднося руку к фуражке. Женского батальона смерти.

— Ага, Бочкаревой? — словно вспомнил старик. — Опустите руку, барышня.

Во мне поднялась обида. Чорт возьми, — не будь перед нами старик-генерал, может быть, я не удержалась бы от совета нашего решительного комадира насчет «утюженья морды». Это мы то «барышни»? Что может быть оскорбительнее?

— Виновата, Ваше Превосходительство, — самым ледяным и казенным тоном ответила я. — Я вовсе не барышня, а фельдфебель второй роты женского батальона.

Генерал сразу понял свою ошибку.

— Я тоже прошу прощения, фельдфебель. Спасибо за молодецкий вид и смелый ответ. Передайте командиру вашего батальона, прапорщику Бочкаревой, мою благодарность, что сумела воспитать таких бравых, хороших солдат. Желаю отличится в бою.

Мы подняли руки к козырькам. Генерал отступил и внезапно голос его дрогнул:

— Прощайте, мои милые солдатики, — уже просто, по стариковски сказал он. — Больно старому сердцу видеть вас в солдатской форме, но да пошлет вам Бог!..

Мне показалось, что у него на глазах блеснули слезы, но когда он махнул рукой; отпуская нас, мы, не долго думая, отправились дальше, едва сдерживая желание взяться за руки и, приплясывая и танцуя даже в тяжелых сапогах, побежать по многолюдной улице домой, «показаться»... Солдаты! Нам вдвоем было вдвое меньше лет, чем этому генералу... Несмотря на то, что мы реально готовы были, не задумываясь, пойти на смерть, мы на самом деле до сих пор просто на просто играли в солдатики... И это продолжалось до тех пор, пока при мне не была убита Оля Прохорова, и ушло навсегда, когда я убила первого немца...

Но тогда?.. Тогда мы были пьяны ощущением новой занимательной игры. Даже штыки, которые привесила нам на бок Бочкарева, казались нам не орудием убийства, а только

военным украшением — для пущей важности: знай, мол, наших!..

Кстати, я совсем забыла сказать, что еще до отпуска мы всем батальоном приносили воинскую присягу. Как это ни странно, эта церемония не произвела особого впечатления. Нас просто выстроили на плацу, старый седенький батюшка отслужил молебен, было вынесено знамя батальона, которое мы тогда даже хорошенько и не разглядели, и мы, подняв руки, хором повторили слова присяги:

«Обещаюсь и клянусь Богом перед святым Его Евангелием, что буду честно и добросовестно служить Великой России и Временному Правительству, не щадя своей жизни...» Остальные слова я даже и забыла, да и дело было не в словах, а в ощущении. Присяга поставила только точку над и, над тем, что УЖЕ свершилось в наших душах. Мы уже и до присяги были в душе солдатами и слова присяги только оформили, так сказать, юридически наше положение воинов Российской Армии.

Дома в первый отпуск меня, конечно не ждали. И я была страшно рада застать там и Лиду, приехавшую с фронта. Мама обняла и расцеловала нас сердечнее обыкновенного, и на этот раз я в самом деле заметила на ее глазах слезы: вероятно, она уже предчувствовала близящуюся трагедию в нашей семье. Но, надо признаться, я не обратила особого внимания на волнение мамы. Разве ЧУЖИЕ слезы существу в возрасте 18 лет кажутся чем то, особо заслуживающим внимания? Разве только удивляют... Ну просто, развинтилась мамочка, глаза на мокром месте! В юном возрасте слезы — только небольшая, скоро-преходящая реакция на какие-либо внешние впечатления. Так и у взрослых, думает юность, не понимая, что у взрослых слезы — это признак внутренней трагедии. Иначе сказать, юношеские слезы — солено-розовая водичка. Слезы взрослого — расплавленное горе и жгучая боль. Это я ТЕПЕРЬ понимаю, но ведь тогда мне было 18 лет и я была фельдфебелем женского батальона смерти... КАК могла я обратить много внимания на боль мамы?

Как я ожидала, Лида не только сердечно поздравила меня с решением, но даже немножко и позавидовала. Теперь было уже поздно вступить в батальон, — учеба уже закончи-

валась, а то, может быть, мы вместе с Лидой прошли бы боевой путь!

Этот вечер мама была очень молчалива, и только мы с сестрой болтали, не переставая, — нам так много нужно было сказать друг другу. Мама потом прилегла на диване, и мы с Лидой долго пели по ее просьбе ее любимые песни, — Лида была превосходной музыкантшей. Было так мирно и уютно в нашей скромной гостиной. Только папочки, такого простого, сильного, любимого; не было с нами для полной иллюзии семейного счастья. Тихо звучал рояль, ширились русские песни, котик дремал у ног молчаливой мамочки, а мы... мы были счастливы, как может быть счастлива молодость, не думающая о «завтра». А ведь буря была уже за порогом нашего дома!..

* * *

К концу июня наша мирная, хотя и очень напряженная, учеба стала прерываться разнообразными событиями. Самым мирным, но и самым торжественным событием было посещение нашего батальона группой английских журналистов во главе с мировой женской знаменитостью, борцом за женские права миссис Панкхерст. Во время этого посещения во всю разворачивались наши «англичанки» — Муся Скрыдлова и княжна Татуева. Нас всех фотографировали оптом и в розницу и во всех позах несчетное количество раз. Это — я, автор этих записок. Я никогда без теплой улыбки не могу поглядеть на себя, какой я тогда была... *)

Ей Богу — хоть и кровавое, но по существу хорошее время было: жилось во всю. Как говорил Надсон — «всем биением нервов, всем огнем страстей»..

Настроение батальона во время посещения нашей английской леди было самое приподнятое. Шутка сказать — величайшая женщина современности, наш женский, так ска-

---

*) Между прочим, знаменитая скульптура Иннокентия Жукова, изображавшая девушку в военной форме с надписью — «Одна из тех, кто пошел умирать за вас» — была сделана по моей фотографии — говорят вышло очень похоже — «как вылитая»...

зать, вождь, приехала нас приветствовать. Конечно, были речи и приветствия.

Пришедшая с английской лэди «бабушка русской революции» Бревико - Брешковская, знаменитая ревволюционерка, старушенция с добрым морщинистым лицом, приветствовала нас первой:

— Я плачу от радости и гордости, — сказала она, — видя женщин, ставших на защиту своей родины... Если вам придется слышать насмешки по вашему адресу — не огорчайтесь. Над вами смеется не боевой солдат, а трусы, которые свое личное благосостояние ставят выше счастья родины. Исполняйте долг по совести и твердо стойте за честь и свободу России.

Это было очень мило сказано, но не произвело впечатления — говорила своя русская старушка, добрая «страдалица за народ». Все мы ждали выступления Панкхерст. Наша знатная гостья произнесла небольшую речь, энергичную, отрывистую и «крутую». Муся переводила ее слова и сама рдела восторженным румянцем.

— Я приветствую вас не только от своего имени, — говорила англичанка, симпатичная с виду такая безобидная скромная лэди. — И не только от имени моих английских сестер. Я приветствую вас от имени миллионов и миллионов женских сердец, которые с замиранием ждут результата вашей героической попытки показать, что женщина имеет право и МОЖЕТ занять в обществе любое положение и быть везде на уровне мужчины. В течение долгих тысячелетий женщины были, так сказать, «угнетенной нацией». Мы должны были добиваться чего-либо в жизни не по праву, а через мужчин, хитростью, изворотливостью, окольными путями. Наше общество создано для удобства мужчины, которому невыгодно наше полноправие. Но, устранив нас от управления миром, он сам не смог создать ничего толкового. Мы живем среди войн, революций, социальной несправедливости, голода; террора.. И это все называется: «мужское управление миром». Может быть и верно то, что среди мужчин есть больше талантов и гениев. Но верно и то, что среди мужчин ку-у-уда больше, чем среди женщин, имеется дураков и идиотов.

Несмотря на торжественность строя, мы все весело рассмеялись, когда Муся перевела нам эту фразу. Очень уж она ядовито была сказана этой пожилой, респектабельной английской леди. Она сама, весело усмехнувшись, продолжала опять серьезным тоном:

— Мы все, миллионы культурных женщин, должны бороться за свои права в жизни. Даже за право на защиту своей Родины и за право с честью умереть за нее. Создание женского батальона смерти — это величайшая страница в истории женщин со времени Жанны д,Арк. Я верю, что на фронте ваш пример увлечет усталых русских солдат, разложенных вражеской и большевицкой пропагандой. Бейтесь смело — миллионы женских глаз, наполненных слезами, будут следить за вашими подвигами и миллионы женских сердец будут с надеждой биться с вами заодно. И наши горячие молитвы помогут вам выполнить ваш тяжкий, но почетный долг...

Мы с затаенным дыханием слушали эту речь. На слова Бочкаревой мы мало обращали внимания — она была «слишком своя». Но здесь обращалась к нам мировая знаменитость, чужой человек, и эти слова дошли до глубины наших сердец и взволновали их всерьез... Муся пошепталась с чем-то с Бочкаревой и неожиданно скомандовала своим звонким ясным голосом:

— Батальон, слушай мою команду...

Все замерли. Надо сказать, что Бочкарева показала нас в полном военном блеске, с оружием и в настоящем строю. Поэтому весь церемониал встречи получился весьма импозантным, как если бы встречали какого-нибудь главнокомандующего.

— Неустрашимому передовому борцу за наши женские права, верному союзнику России, миссис Панкхерст, — она на несколько секунд замерла (Татуева в это время переводила на английский язык команду Муси)...

— Слушаааай... на краул!...

Звякнули винтовки, и батальон отдал честь нашему английскому другу. Впечатление у всех было захватывающим... Первая в истории мира воинская почесть от женщины женщине же...

После парада мы хотели по старому русскому обычаю еще и качнуть нашу англичанку, но Бочкарева, опасливо оглянувшись на журналистов, не разрешила этого. «Знаю я вас, — вполголоса ответила она. — Вы прилично это не сделаете, а если фотографы снимут ее вверх ногами, с задратыми юбками, что такое это будет? Позор... Нельзя!» Так миссис Панкхерст избежала самой большой опасности, которой она когда-либо подвергалась в своей жизни — быть подкинутой к небу сильными руками русских солдат-женщин.

* * *

Настоящая, уже политическая, трагедия развернулась по вопросу о введении у нас выборного комитета для контроля командира. Я уже писала, что после февральской революции по требованию советов в каждой воинской части должен был быть избран из солдат особый комитет, без одобрения которого приказы командира (кроме боевых) были недействительны. Но Бочкарева взялась за организацию батальона при условии, что ее батальон будет жить и воевать без комитетов. Согласие на это было дано самим Керенским. На этой почве разыгрался крупный бунт, чуть было не ставший роковым для существования нашего батальона. Правда, надо сказать, что в этом бунте отчасти была виновата сама Бочкарева — очень уж она перегибала палку в области дисциплины. Мало того, что она обкладывала всех и вся всеми вариациями родимой русской «матушки», дело дошло даже до рукоприкладства. Объективно говоря, часто это было заслуженно, но... время то было «свободное», революционное... И вот как то, во время ее отсутствия, обманув часового на посту, к нам в батальон вечером прорвалась банда солдат большевиков. Они подняли шум, собрали наших легионерш и устроили митинг.

— Что-ж, — орали они, — баба-офицер над вами измывается, морды вам чистит; а вы что — молчите? Скоро вас, как овец на убой погонят — так и пойдете? А за что воевать то будете? Ни наш народ больше воевать не хочет, ни немцы. На фронте — мир и тишина, а вы опять за стрельбу?.. Довольно уж попили народной кровушки — энто все офицерье золотопогонное!.. Налаживай контроль над ими. Во всей армии созданы комитеты для ихней укоротки.. Что же

вы, товарищи женщины? Аль вы против народа пойдете?..

Так и вспыхнуло. Поздно вечером, когда Бочкарева вернулась с какого-то очередного совещания, возбужденая митингом группа женщин вломилась к ней и потребовала создания комитета для контроля над командованием. Но с Бочкаревой спорить было не легко — она была не дипломат, а человек воли и действия. Она тотчас же дала приказ трубить сбор, и в самом большом зале собрался весь батальон. Приказав прекратить шум, Бочкарева коротко и ясно заявила:

— Я создавала батальон не для развала армии, а для поддержки всех честных солдат. Премьер министр Керенский и главком Брусилов разрешили мне не выбирать комитета в бальоне. Но есть, видно, такая рвань и сволочь (она так и отрубила), кто хочет разлагать нас. Приказываю: кто хочет, чтобы в батальоне был комитет, прошу отойти налево. Кто хочет оставаться без комитета под моим командованием — направо...

Кутерьма началась немалая. С шумом и криками «революционерки», стыдно сказать — почти половина, — перешли налево. Но и направо создалась группа не слабенькая, человек, как потом выяснилось, около 900. И с ними все младшие и старшие командиры.

Как только грубое разделение на две группы определилось, Бочкарева неожиданно скомандовала:

— Командиры рот, фельдфебели, унтер-офицеры — в ружье! Бегом марш..

Мы все ринулись в наши залы и через минуту вернулись с винтовками..

— Занять двери. Без моего приказа никого не выпускать...

Надо сказать, что команды звучали очень решительно. Конечно, никто не думал, что дело может дойти до применения оружия, но уже создавшаяся привычка к подчинению и решительность Бочкаревой заставила наших «бунтовщиц» примолкнуть.

— Верным долгу солдатам — выйти на двор и построиться. Татуева, прими над ними команду. Скрыдлова — вы-

ставить из младшего комсостава надежную охрану к стойкам с оружием.. Раздать боевые патроны...

Пока быстро выполнялись эти решительные и короткие команды, Бочкарева мрачно смотрела на толпу бунтовщиц, которые с несколько растерянным видом не знали, что делать дальше. Но когда через минуту Бочкаревой доложили, что приказания выполнены, она загремела...

— А вы, сволочь революционная. Вы — не солдаты, а, — тут пошли такие сравнения, что «бунтовщицам» прежние эпитеты показались мягкой лаской... — А вы — мразь, недостойная называться русскими женщинами. Чтобы я через минуту вашего и духу здесь не слыхала. Татуева, выпроводи их всех партиями, под конвоем, за ворота, к чортовой матери...

— Как, ночью?..

— Ночью, — мрачно подтвердила Бочкарева. — Пусть идут к... чортовой матери, куда хотят. Завтра после обеда пусть приходят за своими вещами — в обмен на казенное обмундирование... Марш!..

Кто-то из «бунтовщиц» пытался протестовать, кое-кто пытался молить о прощении, но брови нашего командира не предвещали ничего хорошего.

—Я здесь командую. По законам военного времени имею право применить оружие к бунту. Ваше счастье, что мы не на фронте... Возвратиться в батальон? Нет, сволочь питерская! Теперь уже поздно. Вон, к чорту!...

Так осталось нас около 900 человек. Выгнанные «комитетчицы» пошли, разумеется, жаловаться ко всем высшим мира сего. Скандал заварился большой. Дело дошло до того, что сам Керенский, которому все это стояло поперек горла — «не было у бабы хлопот, так купила порося» — пригрозил расформировать батальон; если Бочкарева не примет обратно выгнанных и не разрешит формирования комитета. Тогда Бочкарева, не долго думая, ответила, что у нее под ружьем несколько сот верных долгу солдат и что она, не колеблясь, встретит залпами всякую попытку вмешательства во внутренние дела батальона. Было не до нее, никто не хотел ввязываться в невыгодную и смешную историю — расформирование только что созданного с таким трудом жен-

ского батальона, и дело было замято. Может быть, свою роль сыграло утверждение Бочкаревой, что она откроет огонь.. И все были уверены, что она действительно это сделает. Решили не связываться с бешеной бабой...

Так наш батальон уменьшился в количестве, но стал монолитом.

Вспоминаю еще очень ярко — я сама была участницей — одну из крупнейших стычек Бочкаревой с большевиками. Дело было так. Я тогда, как раз сама, стояла часовым на посту у ворот. Был тихий июньский вечер — типичная белая питерская ночь — светлая и прозрачная. Неожиданно на улице показалась довольно большая шумливая толпа, направившаяся к воротам нашей казармы. Толпа состояла из рабочих и солдат, если можно было назвать солдатами этих людей без погон, с оборванными хлястиками, расплющенными фуражками набекрень, с карманами, полными тогдашней чумой — семячками. Остановились, стали задираться.

«Его Величество — ХАМ» уже начинал воцаряться в России.

Сломались «царские обручики», ослабели религиозные, ушли под напором низменных инстинктов связи патриотизма. Показывал зубы Хам и Зверь, который, в разных дозах всегда живет где-то в глубине души каждого человека...

— Эй, бабье тута нашлось!... Защитники буржуев, тожа. Разоружить их к чортовой матери, и вся недолга. Мы замиряться хочем, а они тут на фронт сами лезут...

Настроение накаливалось. В толпе было немало подвыпивших, и какие-то кепки шныряли и подзуживали солдат. Я стояла внешне спокойно, хотя сердце отчаянно билось. Было ощущение первой настоящей боевой опасности. Винтовка моя, как полагалось по уставу, была заряженной, но мне и в голову не приходила мысль, что я могу стрелять «в своих»... Но когда несколько человек из толпы подошли ближе, я крикнула.

— Не подходи!

Вероятно,. в моем голосе было какое-то дрожание ибо солдаты разразились смехом и бранью и подошли еще ближе. Тогда я решительно взяла винтовку на изготовку и позвонила разводящему.

(Нужно сказать, что на внешние посты назначались солдаты особо проверенные и надежные, независимо от их звания. Так и я — фельфебель, очутилась на внешнем посту).

Маленькая тоненькая княжна Татуева выбежала на звонок и увидев толпу (к тому времени собралось уже человек с двести) мигом упорхнула обратно и вызвала Бочкареву. Та смело и с вызовом подошла вплотную к толпе. Наша командирша не знала страха..

— Ну? в чем дело, товарищи? Чего вам нужно?

— Чаво нужно? Да нужно вот тебе ряшку набить, да баб твоих разоружить, да разогнать. Вот чаво нужно. Ишь разоделись в штаны и в солдатики играют. Буржуйское охвостье...

Бочкарева попробовала спорить и убеждать, но настроение толпы становилось все более враждебным. Кое-кто показал и револьвер. Тогда, по тихому приказу Бочкаревой, Татуева незаметно ушла в казарму и через несколько минут дежурное отделение с винтовками в руках прибежало к воротам. Бочкарева почувствовала себя хозяином положения.

— Отделение... Стройся. Равняйсь... На руку... Заряжай...

Звякнули винтовочные затворы. Хотя я и не была в строю, а оставалась около караульной будки, зарядила свою винтовку и я (караульный не на боевом посту имеет винтовку с полным магазином, без патрона в стволе).

Звякание затворов было очень импозантным и угрожающим, но толпа солдат и рабочих продолжала издеваться и наседать..

— Тожа — напугать нас захотела?... Мы на фронте похуже твоего видывали... Забирай у них винты, ребята. Чего тут смотреть на баб этих?

— Эй, товарищи, — резко крикнула Бочкарева и стала как будто головой выше. — В последний раз прошу разойтись. Разоружить нас вздумали? Не на таковских напали... Я тут не шучу с вами... Я тут вашу мразь в момент перестреляю... Вон отсюда!

Ей-Богу, красив был наш командир в эту минуту. Ни тени колебаний не было на ее выразительном курносом, простом лице... Она не шевельнулась, когда в толпе раздались

пронзительные свистки и в нее полетели обломки кирпичей. Только скулы ее дрогнули.

— Ах, т-а-аак, мать вашу? ...

И, повернувшись к отделению, она спокойно и властно скомандовала:

— Над головами этих сволочей-мужчин.... Отделение... Пли!

Рванул залп из 12 винтовок (я тоже выстрелила — нельзя было удержаться). Толпа подалась назад..

— Отделение — опять звонко прозвучал голос командира. — Пли!

После второго залпа толпа отхлынула.

— Эй вы, мразь большевицкая. Беги к чортовой матери, как вы с фронта бежали, а то третий залп я по вашей подлой шкуре пущу.. Вы думали-что? Бабы вам тут? .... Тут — русские солдаты, которые еще и до фронта свой долг, если надо, выполнят, — такую сволочь, как вы, перестреляют. Идите к такой то матери, дезертиры паршивые, а то я весь батальон под ружие поставлю..

Да, крепко умела выражаться Бочкарева! Ей Богу, приятно даже писать об этой сценке! А как упивались мы своей первой военной победой!... Толпа стала отступать все быстрее и это все так понравилось нашему командир.у, что мы дали еще один залп.

Конечно, стреляли мы поверху, в светлое питерское июньское небо, но больше, чем месяц учебы, этот комичный инцидент как-то заставил нас самих поверить в нашу силу. Ведь, подумайте, мы, еще так недавно мирные девушки и женщины, в столице государства, пускали бы залп за залпом ПО ТОЛПЕ, если бы Бочкарева приказала. У нее не было ни тени сомнений, что мы стреляли бы туда, куда она прикажет, а мы чувствовали, что наша военная спайка была уже такой, что мы стреляли бы по самому Керенскому, если бы командиром это было приказано твердо и решительно.

Я вообще отнюдь не кровожадная женщина, но должна признаться, что я, с громадной охотой, стреляла бы по этой оборванной, грубой толпе.. Стреляла бы не только потому, что это были мужчины, которые не только не желали сами выполнять своего долга перед Родиной, но и мешали нам,

женщинам, это сделать... Теперь, уже взрослой, с «поседевшим сердцем», я бы никогда не решилась стрелять по безоружной, глупой, науськанной кем-то другим Русской толпе. Но тогда я с сожалением думала: ах, как жаль, что Бочкарева не дала приказания: «По толпе этих сволочей, мужчин-дезертиров, отделение.. Пли»... Эх!..

ГЛАВА 7

РУССКИЕ«ЖАННЫ Д-АРКИ»

Мы — девять сотен женщин — учились быть солдатами, а на фронте дела шли все хуже и хуже... Уже были случаи массового неповиновения, уже прошли смутные и ужасные слухи о происшедших случаях самосудов над офицерами, усиливалось братанье с немцами, подажа им своего оружия за водку, начиналось в угрожающих размерах дезертирство с фронта. На этом трагическом фоне три фигуры выросли, как гиганты — Керенский, силившийся «что-то сделать», но бывший бессильным остановить развал страны, генерал Корнилов, сильный солдат, главнокомандующий, тщетно требовавший права прибегнуть к самым жестоким мерам и закону о расстреле дезертиров, и, наконец — Ленин, зловещая фигура злого гения России, разлагателя, разрушителя, с ехидной улыбочкой на монгольском лице. Это был человек, не знавший пощады и жалости ни к себе, ни к другу и такой же, как и его брат, Александр... В 1887 году его брат был арестован за участие в покушении на цареубийство и приговорен к казни. Для спасения жизни ему нужно было только подать просьбу о помиловании на царское имя. Он отказался... Его мать, накануне казни, пришла к нему в камеру тюрьмы и всю ночь стояла перед ним на коленях, протягивая перо и

ходатайство для подписи. Старший Ульянов (настоящее имя Ленина) остался непреклонным и утром был казнен...

Таким человеком без сердца был и Владимир Ленин-Ульянов. Впоследствии он так и говорил: «Пусть по дороге к мировой революции погибнет даже 90% русского народа — чорт с ним, лишь бы 10% дожило до этого момента».... ЧТО Ленину была Россия? Он так и признавал цинически: «На Россию, мне, господа хорошие, наплевать с высокого дерева. Это — только этап, через который мы проходим к мировой революции»..

Бой был неравен: с одной стороны, растерявшийся Керенский, с другой — честный, но неискушенный политически генерал Корнилов.. А тут был дьявольский план разрушения, учитывавший усталость миллионов и их самые низменные инстинкты...

Было очевидно, что наше выступление на фронт приближается с неотвратимой быстротой. Мы могли помочь или теперь или никогда. Да и то в сердца уже закрадывалось сомнение — не поздно-ли УЖЕ? Но все равно — жертва была неизбежна...

Наконец, 25 июня был назначен торжественный молебен перед отъездом на фронт. Он должен был состояться в громадном Казанском соборе в присутствии всех «вождей» (как сказали бы теперь) и еще не разложенных строевых частей петроградского гарнизона.

Воскресный день выдался облачным, но теплым и спокойным. Наш марш по улицам столицы был сплошным триумфом. Мы вышли на улицу за Георгиевским батальоном и Союзом Ивалидов — героев войны, в сопровождении большого оркестра и сразу же были окружены восторженным обожанием многотысячных зрителей. Знамена, лозунги, плакаты, флаги — пестрели повсюду. Наши инвалиды несли даже запомнившийся мне плакат поэтического типа:

— На подвиг трудный и кровавый
Стремится женщин слабый рой.
Храни вас Бог на поле славы,
Верни нам всех, кровавый бой....

Не могу сказать, чтобы стихи были первоклассными, но шли от чистого сердца. Да и видно было по выражениям

окружающих нас лиц, что все искренне желают нам счастья и удачи.. А мы шли, старательно отбивая ногу с гордым сознанием, что именно мы — виновники торжества.. Можно было, конечно, принять это за этакий «парад гладиаторов» —

— Аве Цезар! Моритури те салутант!

«Привет тебе Цезарь. .Обреченные на смерть тебя приветствуют». Но, конечно, в наших душах было иное. Мы чувствовали себя настоящими «спасителями отечества». Бочкарева не уставала нам повторять:

— Дело не в том, сколько вас и как вы будете стрелять на фронте. Дело в вашем поведении и в вашей храбрости. Мы все не столько боевые, сколько политические солдаты!

Надо было видеть, с каким важным, значительным видом оттопыривались толстые губы нашего командира при этом слове!...А ведь только недавно Муся, в страшном секрете, научила ее подписывать свою фамилию.

Нужно признать, что Бочкарева выставила нас на парад в блестящем виде. И она заслужила поклонение толпы. Так или иначе; эта простая, неграмотная крестьянка, в эти дни, была не только героиней России, но даже вся мировая пресса склоняла ее имя. Восторженные почитатели и почитательницы называли ее «Русской Жанной д-Арк» (она тайком спрашивала, что это за тетка такая?) и пророчили ей спасение отечества... Ну, чтож?... История странная штука: если бы наш батальон выступил на фронт двумя месяцами раньше, да еще, если бы Керенский положился на него для подавления разрушительной роли Ленина — может быть, история России повернулась бы по иному.

Но разве в лихорадке ТЕХ дней можно было бы что-либо предугадать, анализировать, понять?...

Мы шли медленно, старательно отстукивая сапогами по торцу мостовых (как жаль, что они скрадывали звук удара 900 пар ног!). Со всех сторон нас встречали и провожали приветственные крики и даже, если не «дождь цветов», то, во всяком случае, букеты цветов. И Бочкарева и все командиры щеголяли отчетливостью команд, а мы — точностью их выполнения. Так, по залитым народом улицам, пришли мы на площадь Казанского собора, где уже были собраны воин-

ские части Петрограда и кругом разливалось народное море. Там мы образцово перестроились, составивши винтовки в козлы, и двинулись к собору. Все это мы сделали так чисто, что даже опытный строевик был бы доволен. Да и не мудрено. Бочкарева заранее вымерила шпагатом площадь перед собором и внутри его и не один десяток раз тренировала нас по намеченному плану на казарменном плацу...

На паперти собора нас встретил митрополит Вениамин и благословил. Стройными рядами мы вошли в собор, где уже собрались представители воинских частей, организаций, Керенский, Корнилов, генералитет, члены правительства и Государственной Думы.. Церковная служба продолжалась недолго. Молебен был необычайно тожественным. «Многая лёта» «временному правительству» показалось немного смешным, но зато «Многая лета» Женскому батальону прозвучало, как гром.

Потом митрополит произнес соответственное прочувствованое слово. Керенский, вопреки своему обыкновению, был очень краток и после него в громадном соборе прозвучали отрывистые, сухие, как выстрелы слова, генерала Корнилова, на которого лучшие люди страны уже смотрели, как на единственную надежду России. Небольшого роста, крепкий, со скуластым казачьим лицом и необычайно острыми черными глазами, генерал говорил коротко и по деловому...

В его словах не было приветствий, пожеланий, поздравлений. Он говорил с нами, как старый солдат говорит с молодыми — точно, прямо, веско, словно для него отправление нескольких сотен молодых женщин на фронт было обыденным явлением. И как будто само собой подразумевалось, что мы есть и будем отличными солдатами и бойцами — об этом даже словно и говорить не стоило.... Это понравилось нам больше всего — это вот доверие старого воина, первого солдата России. Он, не выбирая выражений, говорил о тяжелом положении на фронте и о том, что выступление батальона МОЖЕТ поднять упавший дух войск. Потом он взял из рук адъютанта шашку и револьвер, поздравил Бочкареву с производством в подпоручики и от имени армии поднес ей оружие.

Бочкарева была немножко смешна, но одновременно и трогательна. Ее простое лицо покраснело от непривычного

волнения, но все же держалась она превосходно. И контраст между ней — простой крестьянской бабой (несмотря на все ее регалии и форму), и окружавшими ее генералами, министрами и высшим духовеиством — казался каким-то симоволом — как будто вот вожди России обращаются к ней, простой крестьянке, с просьбой о спасении...

Бочкарева приняла шашку, обнажила часть блестящей стали и благоговейно приложилась к ней губами. Ее голос звучал сильно и мужественно, когда она обещала с честью носить и употреблять данное ей Русской армией оружие. Тут же батальону поднесли несколько икон от имени полков, еще сохранивших свой дух..

Затем мы вышли из собора, разобрали винтовки и выстроились буквой П. Нас окружали другие воинские части, и вся площадь была полна народа. Все было по праздничному, радостно и светло, словно и не было грозовой тучи, нависшей над всеми нами и над страной. Так же просто и поэтому так же торжественно генерал Корнилов передал батальону новое знамя. На одной стороне его было вышито изображение Св. Георгия Победоносца, на другой череп со скрещенными костями и надписью — «Женская команда смерти Бочкаревой» (Нас потом обижало это слово — «команда», — а не батальон или легион, но нечего было делать — вышла техническая ошибка).

При общем торжественном молчании Бочкарева склонилась на колена, поцеловала край знамени и передала его знаменосцу. Как лучший строевик, уже в чине подпрапорщика, я была назначена этим знаменосцем. С тем же церемониалом (Господи, что думала в это время мамочка, глядя издали на свою Нинку?) я приняла знамя и в сопровождении Лели и Татуевой заняла почетное место в голове первой роты. Митрополит Вениамин освятил знамя, сказав еще несколько слов и прошел по строю, окропляя всех святой водой.

Минуты были не только исторические, но прямо великолепные. Вот я и теперь поймала себя на том, что мое сердце бьется сильнее обычного. Как же билось оно тогда, когда мне было только 18 лет и мне казалось, что вся Россия смотрит на нас, верит нам и надеется на нас?...

Мы возвращались в казарму, как говорят, не чувствуя под собой ног, опьяненные славой и почетом.

И только уже перед самой казармой жизнь столкнула нас с трагической ноткой. Уже когда мы подходили к своей Торговой ул., — под звуки оркестра, блестя штыками, — из толпы к нашему строю вырвалась небольшая старушка. Она обхватила шедшую с краю Римму Иванову и зарыдала... Получилось маленькое замешательство, но никто не потерялся. Строй был нарушен, но раздались короткие быстрые команды, и весь батальон остановился. К рыдающей старушке бросились командиры. Бледная Римма передала винтовку соседу и сама, с трудом сдерживая слезы и, видимо, потрясенная, утешала старушку, оказавшуюся ее мамой...

А та, сквозь рыдания, жаловалась на свое горе. Бочкарева немного резко спросила, в чем дело? Римма какими-то пустыми, невидящими глазами посмотрела на нее и тихо ответила:

— Мой папа убит в русско-японскую войну... В эту войну убиты оба мои брата. Я — последний ребенок у мамы...

— Да, да ... И эта, моя голубка идет на войну ... Господи, за что караешь меня? За что отнимаешь последнюю опору в жизни?...

И опять она захлебнулась в рыданиях...

Сочувствующие зрители под руки отвели ее в сторону. Римма с каменным лицом и дергающейся щекой взяла винтовку. Бочкарева, как-то особенно сурово, скомандовала «вперед», и мы пошли дальше. Но на душе на минуту стало сумрачно...

Римма Иванова была убита в первом же бою.

В казарме мы узнали, что на завтра утром назначена отправка на фронт и что на Варшавском вокзале уже стоит готовый эшелон для нас. Роковой час приближался... Бочкарева улетела на очередной митинг или заседание, и команду над батальоном приняла Муся. Все свободные от дежурств получили отпуск до 12 часов ночи попрощаться с родными. Конечно, и нам, командирам, очень хотелось пойти домой, — может быть, в последний раз повидать родных серд-

цу людей; но мы, скрепя сердце, (или «скрипя сердцем», как выразилась Леля) остались в казарме вместе с Мусей: первая жертва личными чувствами и интересами для общего дела.

Тут, вот, я не могу не коснуться нашей первой коллективной трагедии, нашего первого стыда. Отпускные должны были вернуться к полуночи, но, увы, явились далеко не все. Около ста «дезертировало».... Подавленные, полные стыда, ждали мы Бочкареву. К нашему удивлению она беззаботно махнула рукой...

— Ни черта вы не понимаете. Ну и слава Богу, что заячьи души удрали от нас. «Баба с возу — коням легче». Зачем нам дезертиров на фронт было везти. Это хорошо, что они ТЕПЕРЬ удрали, а что было бы, если бы они во время боя струсили, а? Вот тогда бы — настоящий позор... А пока что — молчок, товарищи: чтобы никто про это не слыхал. Словно все явились. И идите спать со спокойной душой. Утро вечера мудренее. Побудка в пять.

Но мало кто спал в эту ночь — последнюю ночь перед отправлением на фронт. Наша казарма сделалась для всех нас почти родным домом и теперь казалось странным покинуть ее и уйти в таинственную фронтовую неизвестность.... Но ЧТО-ТО, сильнее нашей воли, влекло нас по своему фатальному пути.

Рано утром мы выстроились на своем плацу в полном походном виде — с винтовками, скатками, патронными сумками и прочим, что полагается солдату, отправляющемуся на фронт. Было пусто и тихо кругом. Бочкарева была проста и будничнa — уж она то, конечно, спала крепким сном...

— Ну, дорогие мои ребята, — коротко сказала она. — Торжества кончились, начинается настоящая солдатская жизнь, к чему мы готовились. Я верю в вас, вы верите в меня. Значится, поехали! За Россию, ребята! И дай нам Бог!...

Она сняла фуражку и истово перекрестилась широким крестным знамением. Как-то не по строевому, а по домашнему, строй оживился мельканием рук. Среди этих рук было не мало дрожащих...

С грустным сердцем шли мы по пустым улицам Петрограда. В утреннем тумане никто не узнавал, что идет жен-

ский батальон. А кто тогда обращал особое внимание на воинскую часть вообще? Но после вчерашних торжеств и восторгов нам начинало казаться, что про нас все уже забыли и что оставшиеся в городе наши дезертиры где то сладко спят в мягких кроватях или насмешливо думают о «дурах, пошедших на бойню»... Было тускло и пасмурно на душе. И спасибо Мусе — она вовремя завела песню «Бородино», батальон стряхнул с себя уныние, и прекрасно слаженный хор — пели мы все — загремел на еще сонных улицах покидаемой столицы.

— Полковник наш рожден был хватом,

— звонко запевала Муся, косясь на Бочкареву, —

Слуга Царю, отец солдатам...
И молвил он, сверкнув очами:
Ребята не Москва ль за нами?
Умрем же под Москвой,
Как наши братья умирали...

Хор подхватил дружно и мощно:

И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой...

Путешествие наше вышло совсем не плохим. Прежде всего — теплушки были прекрасно оборудованы. В эшелоне было два классных вагона — для офицеров. Но все мы — командиры — разумеется, решили ехать в теплушках вместе со своими... Только Бочкарева с Мусей поместились в классном вагоне — для представительства и со своей канцелярией. Мы же все ехали на равных началах. Поскольку наш эшелон часто останавливался — мы бегали в «гости» друг к другу. Помню, к вечеру первого же дня путешествия, ко мне в вагон собрались наши самые боевые товарищи, с которыми мы еще в казарме вели нескончаемые споры и рассуждении о положении и роли женщины в обществе. И опять закипели разговоры. Споров, правда, было мало — мы все, в какой-то степени, были «революционерками-суффражистками». Все готовы были с яростью требовать от каких то абстрактных мужчин своих — пока еще неясных и «попранных» прав.

Переворошили всю историю, чтобы найти там имена знаменитейших женщин. Среди нас было много образованных людей и поэтому розыски были серьезными и оказались — к общему нашему удивлению и радости — очень плодотворными. В военном мире, конечно, центральное место занимала Жанна д,Арк — неграмотная девушка, в 17 лет бывшая главнокомандующим французской армией и показавшая свои практические военные таланты. Мы вспомнили, как в начале фронцузские полководцы посмеивались над ней, решив использовать ее только, как «источник энтузиазма» для солдат, и как закончили — повинуясь ее боевым приказам, точным, ясным и талантливым.. В истории России мы нашли сразу же Надю Дурову, девушку кавалериста, отправившуюся на фронт с казачьим полком, в одежде юноши, во время войны с Наполеоном.. Как она блестяще показала себя в ряде боев. Но потом ее «инкогнито» было мало по малу раскрыто, она была вызвана к Императору Александру I, который наградил ее Георгиевским крестом, произвел в офицеры и, чтобы скрыть ее пол, дал ей новую фамилию Александров. Она была первым русским офицером женщиной. Разумеется, не были забыты и легендарные амазонки, бившие и презирающие, как и мы, мужчин...

В области государственной были упомянуты такие имена, как английская королева Виктория, императрица Мария-Терезия, русская императрица Екатерина II, королева Изабелла — «бабушка Америки», открывшая Колумба, в свою очередь открывшего Америку... Все эти были женщины, по широте государственного ума не уступавшие лучшим представителям «носителей штанов», как выразилась Леля. С гордостью вспомнили мать Наполеона, все пятеро сыновей которой были императоры или короли: неплохая марка для «мамочки»... В области литературы наскребли довольно много имен; начиная от Сафо, античной поэтессы, мадам Сталь, Жорж Занд,Сельмы Лагерлеф, Марии Башкирцевой, Бичер Стоу с ее «Хижиной дяди Тома». В области науки тоже женщины не подгадили: такие профессора, как Склодовская-Кюри и Софья Ковалевская, знаменитый профессор математики Стокгольмского университета, — все это были имена, которыми «даже» мужчины своей страны могли гордиться...

Вспомнили и знаменитейших женщин-революционерок — и Шарлотту Кордэ, и Перовскую и нашу «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую. А сколько артисток блистали своими именами в мире искусства? Не забыли и основательницу Красного Креста Флоренс Найтингаль, про которую королева Виктория сказала: «Вот это мозги! Ее бы военным министром назначить!»...

Когда мы вспоминали жизнь Ковалевской, наш скромный пожилой врач Кузьменко (ей было за сорок и ее приняли в батальон с условием, что если будет нужно, она сменит винтовку на бинт и скальпель) неожиданно прервала нас:

— Ковалевская?... А знаете ли вы, дорогие друзья, что после смерти этого профессора нашли в ее дневнике?

Оживленные, возбужденные лица повернулись к ней.

— А вот какую фразу: «Все,все, что я имею, чего я достигла, — всю славу, ученые труды, научные премии, звания, почет, — я охотно отдала бы за один настоящий поцелуй»...

Мы были немного ошеломлены этакой «изменой» представителя нашего пола. Но на наше счастье нашлась одна студентка, которая сумела отпарировать этот ядовитый удар:

— Ну и что ж... Это кто там еще читал ее дневник? А вот, что выгравировано по-русски на ее могиле в Стокгольме: «София Ковалевская, которая более, чем какая либо другая женщина в мире, сделала честь своему полу»...

И опять зашумели молодые голоса, требовавшие неизвестно от кого, своих прав. Посыпались нападки на мужчин, поставивших женщину в положение рабыни, предмета роскоши, проституток, «принцесс», хозяек, производительниц или хищниц... Женщина должна стать другом, товарищем, сотрудником мужчины. Идиотский — так и было сказано от всего молодого сердца — принцип: «мужчине труд, женщине рождение» должен быть в корне пересмотрен и изменен. А то еще что такое? После брака женщина принимает фамилию мужчины, словно становится его собственностью. Унизительно!.. Нет, женщина тоже должна делать какое то свое дело в жизни, НЕ ТОЛЬКО семейное. Любовь, брак, семья должны сами придти, не меняя роли женщины в общественной жизни.

И уж, конечно, женщина должна заниматься политикой. Вспомнили насмешки Наполеона над женщиной-политиком и остроумный ответ ему мадам де Сталь:

— Нельзя упрекать, сир, женщин, что они интересуются политикой в стране, где ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ причинам рубят головы на эшафоте...

Все ведь войны, революции, — кабак, созданный мужчинами, — бьет и очень сильно по женщине. Дайте же и нам право разобраться в этом кабаке и выправить его совместными усилиями.

— Если бы половина Государственной Думы состояла из женщин, мы все жили бы много счастливее, — категорически заявила Муся, и ее поддержал восторженный вопль одобрения.

— И это скоро так будет... Аминь! — категорически заявила Леля, блестя глазами и сжимая кулаки...

Ох, не поздоровилось бы мужчине, если бы он тогда очутился в нашей компании и пытался спорить!...

Спокойные голоса высказывали мнение, что сразу этого женского равноправия не может быть: слишком уж долго женщина была рабыней — и это слово грубо, но вполне верно определяет ее положение в мире прошлого. Но женщина уже выросла из рамок тесного брака и из рамок подчиненного положения в общественной жизни. Бой начался и, хотя мужчины встречают обычно женское равноправие в штыки, все равно, женская победа неминуема.

Мы уже знали, как энергично английские суффражистки добиваются политических прав: мордобоем, скандалами, битьем стекол. Сама миссис Панкхерст, тихая, скромная женщина вообще, была не последней в этой борьбе кулаками (кстати, после конца войны английские женщины ПОЛУЧИЛИ право голоса). Сомнительно, чтобы они добились этого без отчаянной и скандальной борьбы. И как это умные мужчины не могут понять, что женщина одного с ними культурного и политического уровня — явная драгоценность в совместной жизни.

Досталось мимоходом и женским одеждам, особенно юбке, неудобнейшей форме одежды. Затронут был вопрос, почему это все застежки идут слева направо, а женские —

справа налево (это давало нам вначале большие неудобства). Посыпались объяснения, которые так и не были сформулированы, хотя тема была очень интересной...

Только поздно ночью, разгоряченные и взволнованные спором, чувствуя себя этакими пионерками, борцами за женскую гордость и женские права, разошлись мы на остановке по своим вагонам. И, как знать, может быть, это вот чувство женской гордости удержало многих из нас в часы опасности от того, чтобы показать свой страх... Каждая из нас чувствовала себя не только русской, защищавшей свою страну (как каждая волчица защищает свою берлогу), но и представительницей половины населения всего земного шара, вышедшей на экзамен, чтобы доказать, что ДАЖЕ в военном деле женщина может быть достойным солдатом...

*) Примечание Нины Крыловой: Против этой небольшой главы ополчались все мои мужчины: и муж, и Солоневич и даже сын. Но я настояла на своем. Это ведь, чорт побери, МОИ воспоминания или нет? Переживания поручика Крыловой, а не какого то там мужчины! В НАШЕЙ жизни батальона эти мысли и чувства играли громадную роль. Пусть же они будут отражены и здесь, вопреки мнению мужчин, что это, де, не при чем, что это задерживает ход действия. Я настояла на том, чтобы эти страницы не были выброшены.

*) Примечание Солоневича: Ну, что поделаешь? Я доказывал что тут не доклад об истории женского движения, что здесь нужно отразить жизнь батальона, а не биографию исторических женщин, но... пришлось сдаться. А, может быть, и в самом деле читательницам это будет интересно?

ГЛАВА 8.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Как я уже писала, путешествие было даже веселым. На всех станциях за Петроградом нас встречали приветствиями и цветами. Жители снабжали нас подарками: булочками, вишнями, домашним печением, вареньем.

Это нам, правда, не было нужно; Земский Союз (прифронтовая организация помощи армии) кормил нас буквально «на убой» (мы ведь и в самом деле, сами того не сознавая, ехали «на убой», чтобы нашей кровью и смертями зажечь что-то новое, бодрое в душе страны).

Ближе к фронту все чаще и чаще стали попадаться угрюмые взгляды потерявшей солдатский облик толпы; слышались угрозы и ругательства. Бочкарева не скупилась на соответственные реплики и, то выходя на перрон, то просто из окна своего вагона, отвечала на эти «приветствия» такими крепкими словами, что мрачные рожи дезертиров расплывались в восторженной ухмылке и нас провожали уже более приветливо. Нужно сказать, что чем ближе к фронту, тем имя «Яшки» было известнее. И то, что Бочкарева была простой бабой, боевым *солдатом «Яшкой», сильно помогало* нам в стычках с простой солдатской массой, по существу, просто потерявшей свой ориентир: «Зачем и почему, собственно, вое-

вать?» «Чаво мне стыдиться, ежели меня убьют и из моего брюха будет лопух расти...?» Или:, «Ты себе клейми меня презрением или там еще чем, а я пойду помещичью землю делить». «Наступляй сам, а я домой пойду»; «Мы калуцкие: до нас немец не дойдет! Пущай другие там, которые поближе, воюют!»... «Будя! Попили нашей кровушки! Нехай импираторы сами промеж собой дярутся»...

Да, Ленин глубоко отравил простую душу страшным ядом...

Наш эшелон шел, очевидно, вне расписания, потому что в Молодечно мы прибыли только через двое суток. Там нас ждали повозки и, выгрузившись со всем своим немудреным имуществом, мы отправ.лись на окраину города в какие то пустые бараки, предназначенные нам для ночевки. Увы, счастливые времена удобных казарм и вагонов начинали, видимо, проходить; бараки были совсем пусты и на нарах не было ничего, кроме грязи и сора. Мы мигом убрали все, но спать пришлось на голых досках, прикрывшись шинелями. Некоторые чувствовали подъем и им даже нравилась эта упрощенность военного типа («на войне, как на войне»). Другие поеживались, думая о ночи на голых досках. Ведь подушка, какая простая обыденная штука! А попробуйте, читатель, несколько дней поспать без подушки и вы совсем иначе ее оцените... Но, все равно, выбора не было: не готовить же для нежнобокого женского батальона специальный барак с мягкими матрасами?

Ночь выдалась не только неуютная, но и тревожная. Уже к полуночи, — а ночь была полнолунная, — соседние воинские части, давно уже состоявшие из полу-солдат, полу-дезертиров, узнав про прибытие женского батальона, стали толпами стекаться к нашим баракам. Часовые разбудили Бочкареву. Та собралась мирно потолковать с собравшимися, но настроение тех было резко агрессивным. Пришлось «потишма» разбудить весь батальон и поставить его на военное положение. Сами понимаете, было не до сна.

А Бочкарева, между тем, смело ругалась и спорила с толпой, доказывая, что немцы объявили нам войну, пришли на нашу землю и «замириться» с ними мы можем только тогда, когда выгоним их с родной земли. Перерутива-

ние продолжалось долго. Настроение все накаливалось. Полетели даже камни в стекла. Один момент казалось, что вооруженная стычка неминуема: издали послышались выстрелы и пули пробили крышу барака. Это были первые пули, направленные в нас, но, увы, РУССКИЕ ПУЛИ. Нас поставили в ружье и, сжимая винтовки, мы стояли, затаив дыхание, прислушивались к шуму возле бараков.

Бочкарева попробовала припугнуть толпу применением оружия, но эта угроза не оказала никакого влияния. Тут была не оборванная безоружная толпа питерских дезертиров, а боевые солдаты, за три года войны приучившиеся не бояться ни Бога, ни чорта, ни смерти, ни крови... На угрозы Бочкаревой раздались крики:

— Брось трепаться, бабонька! А то мы тут пулеметами всех твоих девочек расчешем. Нас на баса не возьмешь. Ты нам лучше скажи вот што. Мы тута вроде перемирия устроили: ни немец нас, ни мы немца. И кровя нет. А вы тута драться начнете и все взбулгачите. Вы то что — хрен с вами, пущай вас немец раздраконит, а только и нам сбоку попасть может, ежели бой будет. Гляди, тетка, не замай, а то мы, вместе с немцем, тебе по шее накладем...

Почти час длилось напряжение. То ли Бочкарева «переругала» солдат (она была неутомима на этаких митингах), то ли все они просто сами устали и захотели спать, но все кончилось мирно. Но наш геройский порыв стал окрашиваться в иные, более тусклые и мрачные тона. Так вот, как нас встретил «настоящий» фронт! Это — не Петроград с его овациями!

*

Утром, после бессонной ночи, мы в походном снаряжении, выступили на настоящий фронт. Мы должны были пройти около 8 клм. и занять участок окопов 545-го Курюк-Дарьинского полка. Несколько дней тому назад отсюда сняли, расформированный из-за массового дезертирства, 703 пехотный полк.

Дорога была простым проселком, по сторонам которого виднелись обычные следы войны: разрушенные дома, воронки от взрывов снарядов, разбитые повозки и прочее. Трупов не было, так как война, собственно заканчивалась. Немцы

предусмотрительно старались не возбуждать воинственных инстинктов уставшей русской армии, разложенной Лениным, перебросили часть своих армий на западный фронт и, с полным основанием, полагали, что на русском фронте нужно только выжидать действия яда и пользоваться иным оружием — большевицкой «Окопной Правдой», братанием, спаиванием и прочими средствами политической борьбы и политического разложения...

В пути над нами покружился германский «Фоккер», видимо с любопытством рассматривая невидаль — воинскую часть, идущую на фронт не ночью, а среди бела дня. Но он не стрелял и скоро скрылся на западе. Усталые и злые пришли мы к своим окопам. В них было только несколько оборванных грязных часовых, спавших в блиндажах. Они объяснили Бочкаревой схему окопов предоставленного нам участка и, с видимым удовольствием, пошли в соседнюю часть «досыпать».

На фронте, вопреки нашим о нем представлениям, было совсем тихо. Даже издалека не доносилось никаких звуков войны.. Изредка в летнем небе показывался немецкий аэроплан и, лениво прочертив какую то, только ему одному ведомую кривую, скрывался на своей стороне.

Нам была предоставлена линия окопов длиною около полутора километров. На наше счастье погода была хорошей и в окопах было сухо и даже весело. Сосновые пригорки окружали нашу позицию, а впереди, в нескольких километрах, начинался довольно большой сосновый бор. Окопы противника были расположены шагах в 800 и в них было ясно заметно движение. Люди входили и выходили по каким-то своим делам, словно и в действительности война была давно уже кончена. Бочкарева, бывшая в свирепом настроении духа после стычки со своими же солдатами в Молодечно, сразу после того, как мы разместились, приказала открыть огонь по немцам.

Загремели наши выстрелы. Правда, стрелять мы умели плохо, но привыкшим к беспечности немцам даже наша стрельба (особенно, вероятно, стрельба Бочкаревой) причинила кое-какой ущерб, ибо они исчезли и ответили сейчас же пулеметным огнем. Через несколько минут с запада заухали

их орудия и мы, впервые в жизни, попали под настоящий артиллерийский обстрел.

Теперь я думаю, что Бочкарева нарочно устроила эту стрельбу с несколько провокаторскими целями, чтобы «обстрелять» нас. Известно, что на фронте «за стреляного десять нестреляных дают, да и то не берут». Вот наш командир и решил ДО настоящих боев провести нас через этакое «крещение огнем». И она была права. Первые близкие разрывы гранат подействовали на большинство из нас ошеломляюще. Ведь, как ни говори, большинство из нас было почти девочками, одетыми в солдатскую форму. Еще несколько дней тому назад мы были в Петрограде, играли в солдатики, а тут впервые попали под огонь настоящих орудий, которые целились прямо в нас. Было жутко и тягостно. Вверху пели пули немецких пулеметов; земля дрожала от взрывов снарядов, а мы в блиндажах невольно жались друг к другу. Но ведь не всем же сидеть в безопасном месте — кто-то должен быть наверху? И мы, командиры, силясь «надеть» на себя бодрые улыбки, по очередно вылазили из блиндажей, чтобы показать пример и «держать вахту».

Очевидно, немцы подумали, что этот участок окопов, бывший долгое время инертным, занят какой-то новой ударной частью, которая начала проявлять свою активность. Отсюда — желание задавить эту активиость «на корню».

Артиллерия била по нас втечение нескольких часов и, к сожалению, не безуспешно. Несколько наших солдат было убито и до тридцати ранено. Именно тогда я впервые увидела не «спокойных» покойников, лежащих дома в мирном гробу, а людей внезапно убитых жестокими разрывами снарядов. Один часовой был убит в моей роте и было страшно не столько видеть это окровавленное тело и изуродованное страхом и страданием знакомое лицо, как сознавать, что вот, только час тому назад, это была веселая живая студентка Римма Иванова, та самая, с которой так трогательно прощалась старушка мать после парада. Чуяло материнское сердце трагедию. Теперь Римма лежала исковерканная, неподвижная, и каждой из нас казалось, что приближающийся вой снаряда несет именно ЕЙ такую же участь.

Бочкарева не боялась ничего. Если она и думала о смерти, то видимо, только о смерти врага, но никак не о своей Она все время ходила по окопам, спускалась в блиндажи, шутила уговаривала, смеялась, ругалась, и, действительно, ее появление оживляло и вливало новые силы. Если наш милый командир тут, чего же робеть? Все равно, раз помирать! «Раз маты родыла», как когда то говаривали запорожцы.

Вечером и ночью было тихо. Мы выставили по всем правилам военного искусства сторожевые охранения, забрались по своим тесным блиндажам и, — как это ни странно — заснули мертвым сном. Это, было воистину удивительно — на голых нарах, в темных полуямах, полуземлянках, тесно прижавшись друг к другу, прикрывшись многострадальными солдатскими шинелями, мы спали, как убитые... Парадоксы человеческой психики!

На утро нас разбудили первые громы, опять начавшейся канонады. Часовые доиесли, что во вражеских окопах заметно какое-то оживление. Бочкарева висела на телефоне и уговаривала ближайшие батареи поддержать нас огнем, если немцы начнут наступление. После долгих переговоров такое обещание, наконец, было получено, но с условием, если НЕМЦЫ начнут «наступать». Если же начнем мы, батареи не выпустят ни одного снаряда: они не империалисты и вообще «без анекциев и котрибуциев» . . . Потом оказалось, что солдаты считиют эти «анекции и контрибуции» какими-то островами, от которых Россия должна отказаться, чтобы не задираться с немцами . . .

Слово «интернационал», которое уже начало склоняться во всех падежах, солдаты переводили: «интересы нации», как когда-то «конституция» считалась женой Великого Князя Константина. Что и говорить, Ленин сильно «заморочил» головы простых людей . . .

Но, во всяком случае, — поддержка своих батарей была обеспечена. Хорошо и это. Бочкарева повеселела, а ее бодрость передалась и нам.

Потом принесли солдатский борщ, показавшийся удивительно вкусным; выдали свежий чудесно пахнущий ржаной хлеб. Сахар у нас был, фляги еще полны вчерашнего чая,

словом, мы попировали всласть, не обращая внимания на снаряды. Шутки, смех и веселье разлились по окопам. Это было замечено даже немцами и показалось им настолько плохим признаком, что опять загудели снаряды и пулевые струи понеслись по верху окопов. И опять «тело взяло верх. «Духом» мы не боялись, но это проклятое женское тело, чорт бы его подрал, не хотело слушаться приказаний воли; оно дрожало и часто даже совсем позорно. То здесь, то там виднелись бледные губы, кривившиеся (неудачно) в «смелой улыбке», все норовили спрятать подальше свои руки, чтобы не было заметно, как они дрожат. Потом Бочкаревой показалось, что немцы готовят атаку и она скомандовала тревогу.Мы заняли наши места и открыли из винтовок огонь; ждать в бездействии было невыносимо. Чтобы подавить замеченное волнение, Бочкарева скомандовала стрелять залпами и, к нашему крайнему удивлению и гордости, залпы оказались образцовыми, никто не сорвал ни одного выстрела. Этому, очевидно, удивились и немцы и уж совсем поразились наши соседи — мирные, полудезертирские части. Но за это нам досталось и больше артиллерийского обстрела, и тут-то, одним из недалеких разрывов, я была легко ранена — мелкими осколками мне пробило плечо и бок. Раны были нестрашные; было очень хорошо, что я их сама не могла видеть. Наша милая докторша без труда выцарапала оба осколка, влезшие под кожу не глубже сантиметра, смочила иодом, перевязала и, КОНЕЧНО ЖЕ, я осталась в строю.

Осколки эти и теперь хранятся у меня и, когда я их показываю Гореньке, он с почтением смотрит на свою боевую мамочку...

Вскоре обстрел кончился; атаки не было. Но зато мы подверглись «нападению» со своей стороны. Часа через два после конца обстрела к нам явилась негодующая делегация соседнего полка.

— Так что, товарищи женщины, мы протястуем кантегорически, — решительно и грубо заявил какой то вахлак, «председатель» делегации. — Мы тута войну, можно сказать, совсем покончили, а вы опять требунгу подняли. Седни тоже нам малость попало — осколки на нами летали. Этак и нам

достанется пара снарядов. А мы из-за вас своих кишек тут оставлять не собираемся!..

— Ну, так что же, — резко оборвала его Бочкарева. — Мы перед немцами труса праздновать что ли должны?

— А не надо было цапаться! Вы же первые стрельбу начали? Сидели бы себе потиху, ежели уж вам так хотелось фронт повидать, ну и немец...

— Первое отделение второго взвода (моего) в ружье! — внезапно скомандовала Бочкарева.

Разговор происходил в окопах, в широком узле скрещения тыловых сообщений. Выстроиться было негде, но я мигом сгруппировала отделение и ждала приказаний. Сама я была без винтовки, — левая рука была на косынке, — но сердце замирало. Неужели придется стрелять по своим? тут ведь фронт, а не питерская улица! Будет ли тут Бочкарева стесняться?

— Вот что, дорогие мои трусы и сволочи, — медленно и грозно сказал наш мрачный командир. — Предупредите там своих дезертиров, мать их так, этак и поперек, что если ко мне пришлют еще раз такую вот шелудивую делегацию, я их, без всяких разговоров расстреляю на месте! Вам же даю ровно пять минут на то, чтобы убраться к чорту под хвост. Потом применяю оружие по фронтовым законам о бунте! Татуева, заметь время!

Все мы глядели на Бочкареву с восторгом, хотя и с беспокойством. Но «делегация» — восемь полусолдатского вида «соседей» почувствовала в тоне Бочкаревой решительность, а в наших глазах прочла явную злобу и презрение, и убралась так быстро, что через минуту все стало казаться фарсом.

Командиру полка был отправлен доклад; мы снова хорошенько поели. Вышло солнышко, и жизнь и война снова стали казаться веселым приключением. Были мигом забыты перенесенные страхи и погибшие и страдающие товарищи. Мне самой было больно, но я с самым беззаботным видом, как старый боевой солдат, ходила по блиндажам своего взвода и снисходительно шутила с «молодыми». Не, все-таки, что ни говори, война только для молодых душ. Пусть эти души пе-

реживают острее, но зато эти переживания поверхностны и быстро уходят от слез, от смеха, от перемены впечатлений.

У нас еще не было «мозолей на душах» по выражению Бочкаревой, но зато много еще детского, легко стирающегося. Смерти наших солдат были, например, много острее пережиты мужчинами в тылу. Протопресвитер Шабашев рассказывал мне потом, что ему пришлось в тылу напутствовать многих из нашего батальона.

Умирали наши женщины без стонов и жалоб, куда тише, чем мужчины-солдаты. Но впечатление, тем более, было потрясающим...

Про смерть Елены Недзведской, получившей 28 ран, о. Шабашев вспоминал с живым волнением.

— Убили ребенка, девочку, одетую в военную форму и «законно» признанную солдатом...

Смерть каждой из нас возвышала нас в наших собственных глазах и «батальон смерти» — настоящей смерти! Но в глазах всей честной России это было позором; знаменитейший журналист России Борис Суворин писал в «Вечернем Времени»:

«Бой под Сморгонью останется вечным позором для нашего времени, но еще и еще украсит неожиданным венком русскую женщину»...

Но мы все тогда не думали ни о чем, жили сегодняшним днем, даже сегодняшней минутой...

К вечеру немцы еще раз угостили нас порцией снарядов, но, на этот раз, у нас уже не было того страха и мы этим были очень горды. Мы даже как-то начинали гордиться нашими потерями. У нас уже было убито до 20 и ранено больше 70 человек, главным образом, снарядами. Так сказать, «крещение огнем и кровью». Это крещение мы блестяще выдержали.

Нам казалось, — да это так и было, — взоры России испытующе и с тревогой устремлены на нас — как-то мы будем держаться под огнем? В глубине души раньше у нас не было уверенности, что мы выдержим. Мы говорим себе: «мы ДОЛЖНЫ выдержать», но... кто из нас был в этом уверен? А, вот уже два дня, мы держимся в окопах под обстрелом и,

слава Богу, держимся хорошо... Теперь мы твердо ЗНАЛИ, что выдержим и дальше...

Со стыдом должна признаться, что во время вечернего обстрела, когда мы отвечали залпами, над нами посвистывали пули не с запада, а сбоку. Выгнанная делегация, видимо, расписала наши «империалистические намерения» и, со злобы, наши соседи, нет-нет, да и пускали пули в нашу сторону: помилуйте — спать мешают, артиллерийский огонь навлекают, мешают брататься, продавать оружие. И вообще эти «бабы» не хотят мир с немцами заключать!

Бочкарева послала к соседям солдата подносчика пищи с предупреждением, что если обстрел оттуда не прекратится, она, Бочкарева, немедленно откроет огонь залпами по «трусливой сволочи, недостойной называться русскими солдатами». Это подействовало. Вообще, надо сказать, что наш командир не стеснялся в выражениях. Она не уговаривала, а грозила или била морду. Мне трудно сказать, может быть, в те напряженные времена, лучше было «просветлять мозги», объяснять, беседовать, влиять добром и примером. Но наша Бочкарева действовала более решительно и, нужно признаться, что нас это искренно восхищало. Возможно, что мы открыли бы огонь по своим с еще большей готовностью чем по немцам; очень уж было обидно слушать пение русских пуль над своей головой. Это такая-то встреча нас, героинь, спасительниц и защитниц России? Теперь будучи взрослой, я таких стрелков просто всенародно приказала бы выпороть, но тогда в молодости расстреляла бы без всякого зазрения совести. Нет, молодежь не годится в судьи! Ее дело идти напролом честно и прямо, но путь должен быть указан старшим и более мудрым...

Третья ночь прошла совсем спокойно, но было очень неприятно найти на себе обилие фронтовых животных. Старому солдату они малозаметны и даже привычны, но нам доставили массу отвратительных переживаний. Впоследствии охота за такими, ползающими по белью «животными», сделалась даже своеобразным развлечением в блиндажах, но в первые дни их появление показалось унижающим наше достоинство.

Более комичной была встреча с крысами. Я лично отнеслась к появлению их спокойно, но Леля, например, в первый раз визжала так, что соседи прибежали узнать, в чем дело. Любопытно, что ко вшам мы скоро привыкли, но те, кто визжал при виде крыс, не перестал этого делать до конца своей фронтовой жизни: это было сильнее их. Мы, правда, утешались тем, что ДАЖЕ сам Наполеон боялся мышей. Уж если САМ Наполеон, так что же стыдиться нам, бедным женщинам?..

На следующий день мы были отправлены в тыл на отдых, хотя нам на смену не пришло никакой части, и окопы остались пустыми (мы оставили нескольких часовых). В тылу мы хорошо помылись в вагоне-бане Пуришкевича и сменили белье. Тогда же прибыли благословенные тюки с принадлежностями женского обихода — спасибо адмиралу Скрыдлову, так как это он догадался.

В тылу мы узнали, что полковник Закржевский, командир 525 полка, отправил в дивизию такой отзыв о нас:

«Отряд Бочкаревой в окопах вел себя героически, неся службу в передовой линии, как образцовые солдаты. «Женская команда смерти» подавала своей работой пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимала этим дух солдат и доказала, что каждая из этих женщин-героев достойна звания русской революционной армии».

Было ясно, что наши начальники-мужчины еще больше нас рады тому, что мы оказались храбрыми солдатами и блестяще выдержали первый экзамен на фронте. Очень мило и торжественно прошел маленький смотр, устроенный нам командиром дивизии, генералом Валуевым, важным стариком, похожим на д-Артаньяна в старости. Он с радостной искренностью поздравил нас с успешно выдержанным боевым испытанием и высказал уверенность, что мы и в дальнейшем покажем себя прекрасной боевой частью. Он роздал около ста георгиевских крестов и медалей и произвел многих в следующие чины. По особому представлению Бочкаревой генерал лично перед фронтом поздравил меня с георгиевским крестом и произвел в прапорщики. Можете себе представить мое ликование: сбылись мои мечты, — я, раненая, с рукой на косынке, стою перед своими товарищами и боевой генерал,

начальник, отмечает перед всеми мою храбрость! Есть от чего закружиться девичьей голове!

После парада я была еще более обрадована, когда Бочкарева, неожиданно решила взять меня в Петроград. Ликование мое было полным — приехать домой раненым героем, офицером. О, Господи, сколько было счастья и детского тщеславия! Эх, если бы еще и шпоры с «малиновым звоном!»*)

---

*) Шпоры с «малиновым звоном» — особо музыкально подобранные, с серебряными колесиками. Название произошло от имени бельгийского города «Малин», из которого к нам, в Россию, прибыли особенно звучные церковные колокола.

ГЛАВА 9.

ПЕТРОГРАД ПЕРЕД ВЗРЫВОМ

Само собой разумеется, все газеты были полны описанием наших «подвигов». Надо признаться честно, что во всем этом был известный, как сказали бы теперь, «социальный заказ», но, даже не учитывая этого, все действительно были в восторге. Не потому, что мы успешно «отражали атаки» (газетчики выдумали уже и это), а потому, что в нашем предприятии не оказалось ничего комичного. Все словно с облегчением вздохнули: «Ну, слава Богу, русские женщины не осрамились!» А ведь можно было бы ждать позорных явлений — и бегства под орудийным обстрелом, и разгона своей же солдатчиной, и истерик, и дезертирства и слез. Бочкарева правильно сделала, что провела нас через несложное боевое крещение, ибо через несколько дней мы встали перед куда более серьезными испытаниями — четырехдневными кровавыми боями, которые вошли в историю Русской Армии, как бои под Ново-Спасским лесом, а в историю мирового женского движения, как бои русских женщин под Сморгонью-Крево.

Но то было в будущем, а теперь я ехала вместе с героиней России, поручиком (она также была произведена в следующий чин) Бочкаревой и ярко сияли мои новенькие офицерские погоны, георгиевский крест и мои 18-летние девичьи глаза. Я была настолько полна гордости, что встреться

со мной теперь мой милый Жора, я снисходительно подала бы ему два пальца, а про недавние поцелуи сказала бы презрительно: «забудем эти детские шалости!»

На его счастье, Жора не встретился, а на других мужчин я не обращала еще никакого внимания, но зато судьба порадовала меня театральной встречей с моим папочкой.

На питерском вокзале Бочкареву сразу же взяли в оборот какие то «политиканы» и она умчалась в автомобиле, условившись со мной о дне и часе возвращения на фронт. Я же, предшествуемая носильщиком, с рукой на косынке, медленно пробиралась к буфету, с обидой отмечая, что на меня никто, собственно, не обращает ни малейшего внимания, солдаты не отдают чести (у нас в батальоне на этот счет было строго), а старшие офицеры в ответ на мой салют с несколько недоуменным видом подносят руку к козырьку.

Как раз в этот момент своего наивысшего негодования я заметила папу. Он стоял в стороне в своей поношенной фронтовой шинели со скромной георгиевской петлицей (не как я!) и, видимо, кого то ждал: не меня, конечно, ибо я приехала неожиданно. Хотя сердце во мне бешено билось и мне хотелось кинуться ему на шею, я нарочно прошла мимо, отдав ему честь. Папа рассеянно ответил и посмотрел в другую сторону. Тогда я остановилась перед ним с поднятой к козырьку рукой. Заметив стоявшего перед ним военного, папа перевел глаза с новенького нагана, висевшего у меня на боку, на георгиевский крест, потом на погоны и только потом поднял удивленный взор на мое лицо. Эта пантомима длилась в течении долей секунды, но, чорт побери, ради таких вот ДОЛЕЙ секунды стоит жить!.. Боже мой, как дрогнуло его лицо! Какие радость и любовь выразились в его чистых серых глазах!..

Я откровенно ревела в его объятиях. Думаю, что и папа был близок к слезам. Потом мы долго любовались друг другом (конечно, особенно папочка) и потом рука об руку пошли вместе в буфет. На счастье там оказалось шампанское, и папочка с милым пожеланием поднял бокал за свою «девочку офицера» (ни от кого другого я не снесла бы такого слова — «девочка!»). Мы дружески болтали и решили вместе отправиться домой — порадовать мамочку. Папа вышел, чтобы сделать распоряжения относительно багажа (он уже

уезжал, но откладывал свой отъезд на два дня, чтобы побыть со мною)...

Я рассеянно допивала остатки шампанского и счастливо улыбалась, когда какой то строгий голос вывел меня из задумчивости.

— Прапорщик!

Я даже не оглянулась. И неудивительно — чин прапорщика я носила только второй день.

— Господин прапорщик, — еще строже раздался голос сбоку.

Я обернулась. Неподалеку за столиком, видимо только войдя, сидел пожилой капитан, с обрюзгшим морщинистым лицом и повисшими по-хохлацки усами. Я даже сразу не сообразила отдать ему честь.

— Что прапорщик, — язвительно заметил он, разваливаясь на стуле. Капитан был в явном подпитии и в злом настроении. — Значит, в товарищей начинаем превращаться? Забываете чинопочитание? Шампанское потягиваете в буфетах?

И потом уж более строго:

— Потрудитесь встать, когда старший вам делает замечание!

Я встала, но не успела еще ничего ответить, как сзади раздался негромкий голос папы:

— Господин капитан!

Хотя кпитан был по возрасту старше папы и, как тыловик, весь блестел начищенными пуговицами и золотыми погонами, а на папе была надета, как я писала, старенькая шинель и защитные погоны, но было что то в его голосе, что заставило капитана оглянуться и сейчас же вскочить. В самом деле, папа никогда не повышал голоса, но все, буквально все его слушались. Так было и сейчас. Он сказал только «господин капитан», но эти два слова звучали приказанием.

— Как вам не стыдно, капитан, делать при всех выговор молодому фронтовому офицеру?

Эти слова были сказаны громко и обратили внимание. Десятки лиц, сидящих в буфете, большей частью военных, с любопытством повернулись в нашу сторону.

— Если я, фронтовой полковник, не позволил себе сделать замечания молодому прапорщику, имеющему почетные знаки отличия и к тому же раненому, то как могли сделать это вы, тыловой офицер?

— Господин полковник, этот прапорщик не приветствовал меня, увлеченный шампанским. Я счел необходимым поставить это ему на вид.

— Возможно, что он вас не заметил. Он только что прибыл с фронта и вы должны были воздержаться от выражения «своих прав», как старшего, и требовать от него строгого соблюдения воинского устава. Видите, никто из офицеров здесь этого не позволил себе сделать.

Голос отца звучал все более строго. Мне сделалось страшно, что этот небольшой скандал может помешать нашему скорейшему отправлению домой. Я умоляюще тронула папу за рукав.

— Ну, пожалуйста, папочка...

Тут капитан впервые услышал мой голос. Если в военной форме я могла еще казаться юношей, то голос явно предавал меня. Выпивший капитан с удивлением воззрился на меня и только теперь, видимо, «что-то» ясно разглядел при неярком свете буфетных ламп. Как говорится, «страшная догадка пронзила его мозг». Он удивленно поднял брови и как то по-штатскому поклонился одновременно и мне и папе.

— Ах, полковник... Ради Бога, извините меня! Это ваша дочь? Простите, барышня, что я в полутьме не разглядел.

Тут настала моя очередь обидеться. Вероятно мой голос дрожал от негодования и волнения, когда я сухо и гордо отрубила:

— Простите, господин капитан, я не вижу здесь никаких барышень!

Окружающие, уже поняв, что произошло, весело рассмеялись. Надо полагать, что действительно в моем гордом возражении было много детского: этакий протест школьницы, в первый раз в жизни надевшей длинное платье и которую, видите ли, назвали «девочкой». Я покраснела и хотела сказать что то, еще более резкое, но папа прервал меня:

— Выбирайте ваши выражения, капитан! Дело вовсе не в том, что этот боевой прапорщик — моя дочь. Вы должны были больше руководствоваться в данном случае не уставом гарнизонной службы, а офицерской этикой. Позвольте поставить вам это на вид.

Капитан смутился еще больше. Да и настроение окружающих было явно против него.

— Виноват, господин полковник. Признаю, что я был неправ и прошу прощения и у вас и у вашей... вашего прапорщика.

Он протянул мне руку.

— Простите еще раз, юный герой!

Все окружающие дружно зааплодировали. Я покраснела еще больше, уже от тщеславия, но, конечно, больше всего эти приветствия доставили радости моему папочке...

Мы допили свое шампанское и, провожаемые любопытными взорами всех сидевших в буфете, вышли с вокзала.

В автомобиле папа обнял меня за плечи.

— Вот какие, Ниночка, брат, дела! Мы оба с тобой офицеры! Кто мог бы это подумать еще несколько месяцев тому назад, а уж тем более 18 лет тому назад, когда ты, крохотная, пищала в колыбельке.

— А ты погоди, папка. Я еще, может быть, генералом стану. Будешь ты мне еще козырять!

Он отнял руку и задумался.

— Теперь все может быть, Нина. Как это мне один солдат сказал: «В Расее и небывалое бывает»... В России все крупно — и в величии и в падении. А теперь все дыбом встает. Такая гроза собирается, что многим из нас головы не сносить. Помнишь Ленина? Он такой бунт готовит, что за Россию страшно!

Я вспомнила сцену у Финляндского вокзала.

— Знаешь, папочка, пойдем послушаем его вместе? Говорят, он каждый вечер выступает с речами?

— Никак не могу, — усмехнулся папа. — Он так накаливает своих слушателей против офицеров, что мне просто опасно там и появляться.

— А ты переоденься.

— Это тебе, милая моя девочка (на меня то ты ведь не обижаешься, Ваше Благородие?) легко переодеться и быть неузнанной. А во мне всегда, в любом платье, офицера узнают. Да еще кто либо из моих бывших солдат попадется. Я не могу рисковать собой — меня полк ждет.

«А меня — моя рота», хотела я сказать, но во время прикусила язык. Какое могло быть сравнение в ответственности постов? Я всегда чувствовала себя этакой несерьезной декорацией, а папа был настоящим боевым полковником...

Дома было чудесно, но — странное дело — моя душа тянулась уже к моим фронтовым товарищам. Я не знала, что, собственно, с собой делать дома. Нельзя же было ворковать целый день с папочкой и мамочкой. И я решила провести в жизнь мой план, пойти послушать, что говорит Ленин, узнать, что в его словах так разлагающе действует на душу простого рабочего и крестьянина.

По настоянию папы я переоделась в самое старое платье. Как оно было удобно, просто и легко! После тяжелых и грубых гимнастерок, штанов и сапог, я чувствовала себя почти птичкой: только оттолкнуться легкими ногами и полетишь. Брошенные в угол предметы мужского обмундирования словно сняли с меня что то наносное, что наложило на душу почти двухмесячное пребывание в строю. В женском платье я сразу сделалась более слабой, мягкой, легкой. Душа стала глубже, человечнее, отзывчивее, добрее и легко было бежать по улицам в легких туфельках вместо тяжелых солдатских сапог!...

Ленин уже давно силой завладел особняком балерины Кшесинской на Каменноостровском проспекте и никто его оттуда не выгнал. В его распоряжении были решительного вида дяди — полу-матросы, полу-бандиты с соответственным количеством пулеметов, и Керенский не решался «пятнать кровью» зарю революции. За эту его слабость Россия заплатила миллионами жизней. Рассказывали еще про одну деталь. После первого вооруженного выступления большевиков Керенский дал приказ арестовать Ленина. Энергичный молодой офицер переспросил:

— А вам как, товарищ министр-президент, предоставить Ленина в совершенно целом виде или в немножко разобранном»?

— «Как это так, — в разобранном»? — с недоумением переспросил премьер.

— Да так... Часто ведь арестованные пытаются бежать... Ну и...

Керенский изругал молодого офицера за еретические мысли. Помилуйте — «безкровную революцию пятнать убийством?» Ленин был арестован «цельным» и, говорят, потом Керенский отпустил его «на честное слово» не заниматься политикой. Так было и с Троцким. Результаты общеизвестны.

Господи, от каких мелочей может зависеть история! В Германии, во время спартаковской революции, молодой толковый лейтенант Редингер, получив распоряжение перевести в тюрьму Карла Либкнехта и Розу Люксембург, арестованных вождей революции, по-просту расстрелял их в первом же парке. «Попытка к бегству», — объяснил он своему начальству. И движение «обезглавленных» спартаковцев было подавлено.

Эх, если бы у нас нашлись сильные люди! Начиная с Императора, прекрасного семьянина и стопроцентного джентльмена. Если бы он, когда к нему, 2 марта 1917 года, в Ставку явились представители Государственной Думы с предложением отречься от престола, вместо того, чтобы подписать трогательный манифест, спокойно приказал бы своему казачьему конвою: «А ну-ка, братцы — повесьте мне сейчас же этих негодяев»... Мечты, мечты, где ваша сладость?...

Помню, я подошла к балкону особняка Кшесинской уже в сумерках, в самом приподнятом настроении. Было немножко не по себе быть одной, но я надеялась, что в таком простеньком платье меня примут за какую нибудь горничную. Кто мог бы подумать, что у такой простенькой девушки, с веселыми глазками и ямочками на розовых щечках, в сумочке папин браунинг и отпускное свидетельство на имя прапорщика Крыловой?

Под балконом особняка стояла уже, шевелясь и негромко переговариваясь, большая толпа. Среди общей массы рабочих и солдат можно было угадать и нескольких интеллигентов. несмотря на все их переодевание. Да, папа был прав. Его, на фоне такой толпы, расшифровали бы сейчас же, как «офице-

ра-буржуя, продавшего свою совесть Николашке Кровавому, попам и капиталам», как тогда выражались.

В сумерках на перилах балкона весело искрились и играли переменным светом разноцветные лампочки, видимо, привлекая слушателей. Как говорили в толпе — «вожди» выступали каждый час.

Мне пришлось ждать недолго. Уже через четверть часа на балконе показалось несколько человек. Среди собравшихся внизу прошел шум.

— Глянь... Тот вот маленький — Ленин. Длинный в пенсне — Троцкий. Тот толстый позаду — Зиновьев. Сбоку — это Подвойский...

Первым выступил Троцкий. Только потом я узнала, что он был одним из самых лучших ораторов мира и, хотя я и не разбиралась в ораторском искусстве, но заметила, что его речь сразу же захватила слушателей своей плавностью, красочностью и внешней убедительностью.

— Товарищи, говорил он, мы, большевики, боремся за новую счастливую жизнь, против богатых, против эксплоатации. Что такое богатство? Это собранные вместе и превращенные в золото капельки вашего пота, товарищи рабочие. Часть вашего тяжелого труда, идет на изготовление товара, а часть на обогащение капиталиста. Если вы в день работаете даже 8 часов (а ведь эксплоататоры заставляют вас работать и по 10 и по 12 часов «для фронта», ха, ха, ха!), то 4 часа вы работаете на себя, а остальной труд идет н откормление буржуев. А не будет этих капиталистов — все, что вы делаете, все, что вы зарабатываете было бы ваше. Да и работать не надо было бы больше 4 часов в день! Помните, как поется в Марсельезе:

Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний кусок они рвут.
Голодай, что-б они пировали,
Что-б в постыдной игре биржевой
Твою совесть и честь продавали
И глумились потом над тобой...

— И вот теперь эти, ожиревшие от вашего пота буржуи гонят вас на фронт, на убой. Зачем? За что? За родину? У честного рабочего нет родины. Его родина — весь мир. Его

соотечественники — рабочие всего мира. О родине твердят ведь и немецким рабочим хозяева с той стороны. Помните, как сказал наш великий учитель Карл Маркс: «Родина — выдумка буржуазии для лучшего околпачивания трудящихся». Поэтому нам нужно уничтожать не внешнего врага, немцев, а нашего врага внутреннего: помещиков, капиталистов, фабрикантов, буржуазию и всех тех, кто идет с ними и сопротивляется народу. Вам нужно драться не за какую то там «Родину», — это пустое слово для рабочего, а за рабочий интернационал...

«Где же правда? — спросите вы. Правда у нас, у большевиков. Почему, спросите вы, мы называем себя большевиками? Потому что мы больше всех хотим счастья трудовому народу, мы обещаем и дадим народу больше других, когда мы придем к власти. И мы призываем вас прекратить войну империалистическую и начинать войну гражданскую против богатеев, помещиков, фабрикантов. За новую счастливую свободную жизнь, за рабочую власть, за счастье всех трудящихся мира, за советы...

Восторженные крики отвечали Троцкому. Его худощавое лицо с козлиной бородой и дьявольской усмешкой еще раз блеснуло дрожащими бликами пенсне и исчезло в глубине балкона.

— Эк, здорово завинтил! — с искренним восторгом сказал кто-то позади меня. — Ну прямо как по писанному, ребенок и тот поймет. А вам как, товарищок, пондравилось?

Двое мастеровых обращались ко мне. Красные рубашки под «спинджаками», лаковые козырьки, напомаженные волосы. Один был с простым деревенским лицом, другой типичный петербуржец, с изсиня-бледным угреватым лицом и дерзкими, нахальными глазами.

Я посмотрела на них и не ответила.

— Ну так что жа, барышня? — опять спросил горожанин. — Неужто не пондравилось?

Я не отвечала, но парни не унимались. Нужно сказать, — дело прошлое, — что не только я сама считала себя хорошенькой (а какая женщина в глубине души так про себя не думает?), но и по, так сказать, объективный оценке (не только Жоры! Кстати, поглядите на мою фотографию на об-

ложке книги, фотографию, конечно, плохую, но все же...) я была очень миленькой. Мудрено ли, что подгулявшие парни решили меня атакнуть?

— Да вы, барышня, не фордыбачьтесь, — миролюбиво продолжал мастеровой с бледным лицом. — Мы, ей же Богу, по хорошему. Так сказать, в хорошей кампашке вечерок провести...

— А почему вы не на фронте? — резко спросила я парней.

Те на секунду растерялись. Крестьянский парень с каким то испугом поглядел на старшего товарища.

— Мы то? — осклабился тот. — А мы, можно сказать, незаменимые спецы. На оборону работаем. Это как поется:

«Все храбрые — убиты,
Все хитрые — в плену,
Все глупые — на фронте,
Все умные — в тылу». Хи, хи.

Именно в этот момент к перилам балкона подошел Ленин, маленький ,лысоватый ,такой, каким я его видела на броневике. Его появление вызвало какое то движение в толпе. Разговоры задуло, словно ветром.

— Почему мы не на фронте? — успел шепнуть мне бледный мастеровой, обдавая меня запахом водки. — А вот это Ленин вам лучше меня расскажет, как и почему...

Ленин говорил, сильно опираясь на перила, медленно и веско бросая в толпу отдельные слова. Он словно подслушал, что сказал мне на ухо мастеровой и отвечал на мой гневный и негодующий вопрос.

— Товарищи! Вам говорят ваши офицеры и Временное Правительство: идите на фронт, бейтесь до победного конца. А я вам говорю наоборот: долой войну! На полях Европы уже гниют миллионы трупов рабочих и крестьян. За что они погибли? За что, спрашиваю я каждого из вас?

Он помолчал, словно и в самом деле ждал ответа от затихшей толпы.

— Так я вам отвечу за мертвецов. Они погибли не за какую то там «родину», а за царей, за попов, за капиталистов. И они не понимали, за что они погибали... Мы, больше-

вики, знаем это и говорим открыто: они погибли за то, чтобы миллионеры еще больше набили себе карманы золотом, окропленным кровью трудящихся. Так будет всегда, пока рабочие не возьмут власть в свои мозолистые трудовые руки.

«Победа Царской России над Германией укрепила бы самодержавное царское правительство кровавого Николая. Победа теперь укрепит Временное Правительство. Разве в нем есть представители рабочих и крестьян? Разве Временное правительство может защищать интересы рабочих и крестьян? Нет, товарищи, и еще раз нет. Тысячу раз нет. Мы откровенно хотим поражения Временного Правительства и его армии. Мы хотим разрушения теперешнего строя жизни.

«Только советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ваша власть. Поддерживая их, — вы поддерживаете самих себя, свои кровные интересы. Не в бой с немцами, а на бой за Советы зову я вас. Скоро грянут иные бои, товарищи. Бои за власть Советов. Не на внешний фронт, а на внутренний зову я вас. Свои буржуи и капиталисты опаснее для нас, чем немцы. В этих боях не будет пощады никому, кто противится народу, кто идет против его интересов. А теперь интересы трудящихся — долой войну! Вся власть Советам. Вся земля крестьянам. Только с нами, с большевиками, рабочий класс и крестьянство могут обрести настоящую свободу и счастье без возвращения Николая Кровавого. Итак, товарищи, самый важный лозунг сегодняшнего дня: долой войну и вся власть Советам!...

Ленину никто не аплодировал; слишком ошеломляющими были его призывы. Зрители только переглядывались, одни боязливо, другие с восторгом. Но так или иначе, мне было совершенно очевидно, что слова большевицких вождей роняют семена анархии и искры пожара в сердца простых усталых людей. Низменные инстинкты, не скованные культурой, разгорались все больше и больше... Ах, отчего не нашлись смелые люди, чтобы убить этих гадин во-время?...

— Ну, как, милашечка, поняла, что — к чему? — спросил, наклоняясь над моим плечом мастеровой. — То-то же. У Ленина не голова, а сплошное золото. Ты вот меня спрашуешь, почему я не на фронте? А что я тама забыл? Почему

должон я тама свои кишки оставлять, ежели тута, в Питере, такие вот миленькие крали, как ты, необъезженными ходют?

Он вкрадчиво обнял меня за талию. Во мне все вскипело и я, не долго думая, обернувшись, в ярости дала ему по морде.

— Ах ты, сволочь, — взвизгнул он (надо сказать, что я была очень сильной и пощечина пришлась очень плотно — со звоном и со вкусом) и хотел ответить мне ударом на удар. Я вывернулась и бросилась в сторону. Наша стычка привлекла внимание, так как на балконе в этот момент никто не говорил. Нервы всех были настолько взвинчены речами, что все подумали, что стычка имеет политический характер. «Мои» мастеровые умело воспользовались этим напряжением.

— Буржуйка, сволочь! Против рабочего люду! Дать ей раза...

Я почувствовала себя окруженной враждебными взглядами. Мастеровые, крича что-то, ломились за мной. Конечно, я была ловче, увертливее. Никто из зрителей не считал, что именно такая простенько одетая девушка является «буржуйкой». Поэтому я легко ныряла в щели шевелящейся толпы и ускользала из рук своих разозленных преследователей. Мне удалось бы ускользнуть, если бы уже на панели я не столкнулась нос к носу с другими двумя парнями. Они скорее в шутку, чем всерьез, схватили меня.

— Куда, красавица? Да разве же можно так стремглав от хороших людей бегать?

— Пустите, пустите, — рвалась я, но мое сопротивление только смешило их. Несколько драгоценых секунд прошло в борьбе и тут из толпы выскочили мои мастеровые. Одна щека бледного парня горела багровым жаром.

— Ага, вот она, сволочь! Что, буржуйка, драться будешь? Честных рабочих обижать? Скандалы перед Лениным строить? Мы тут тебе...

Было ясно, что разозленные пьяные мастеровые могут избить меня до полусмерти. Меня, офицера женского батальона смерти? Вернуться на фронт с синяками на лице? Никогда!

Отчаянным движением я вырвалась из рук парней и бросилась к каменному забору.

— Глянь, ребята — да она, кажись, царапаться собирается? А ну, дай ей для начала, Петруха, леща хорошего...

«Петруха» с угрожающим видом надвинулся. Кое-кто из толпы, радостно гогоча, подошел полюбоваться дракой. На мое счастье сумочка висела у меня на руке ,крепко затянутая ремешком. Быстрым движением я выхватила отуда браунинг.

— Кто подойдет — застрелю, как собаку!

Пьяный хохот раздался в ответ на мой отчаянный возглас. Возможно, что в сумерках никто не поверил, что у меня в руках настоящий револьвер. Парень толкнул меня в плечо и замахнулся. Тогда я выстрелила в воздух.

В мягкой тишине вечера выстрел прозвучал очень внушительно. Парень, собиравшийся «дать мне леща», оглушенный неожиданностью, отшатнулся. Но сзади раздались раздраженые крики: « Ах, вот как? С ливорвертом сюда пришла? Верно, нашего Ленина убить хотела? Бей ее, робя!

Положение создалось отчаяное. Я твердо решила стрелять по нападавшим, но до этого крайнего случая еще два раза выпалила в воздух. Это бы, вероятно, не спасло меня от избиения, но на счастье привлекло милицию.

Как я узнала потом, Керенский поставил наряды милиции около особняка Кшесинской, но с приказом не вмешиваться «в политическую активность свободных граждан свободной страны»... Но, конечно, выстрелы привлекли их сейчас же. В окружавшую меня толпу двое милиционеров врезались этаким смелым клином.

— Разойдись, товарищи... Что тут такое?

Нападающие отступили и я очутилась одна у стены.

— Эти вот парни на меня напали и хотели избить.

— Врет она... У ней револьверт. Покушение хотела исделать... Буржуйка, террористка...

— В кого вы стреляли? — спросил старший, усатый строгий милиционер.

— Да просто в воздух, чтобы отпугнуть этих хулиганов.

— Ну, прежде всего, гражданка, сдайте оружие.

Я колебалась. Остаться безоружной перед этими хулиганами казалось мне просто недостойно офицера. Милиционер заметил мое колебание.

— Ничего больше не бойтесь, гражданка! Теперь вы под нашей защитой. А поскольку вы стреляли в черте города, сами понимаете — это нарушение правил. Мы обязаны вас, прежде всего, обезоружить, поскольку всякая для вас опасность миновала.

Я отдала свой браунинг и, в сопровождении милиционеров и группы парней, направилась в отделение милиции.

Там начальником оказался какой то довольно пожилой студент с помятой курчавой бородкой (в те времена милиция набиралась из добровольцев, большей частью студентов). Мастеровые держали себя вызывающе и, видимо, не отказались от мысли проучить меня. Они объясняли стычку тем, что в толпе я, будто бы, начала «всякую там» пропаганду, а когда они, опасаясь покушений, пытались меня задержать, стала стрелять, но, к счастью, ни в кого не попала.

— Где ей, девке, в кого попасть? — презрительно протянул бледный мастеровой с битой рожей. — Тоже стрельчиха тута выискалас! Мы бы сами вам ее с ейным леворвертом предоставили в лучшем виде. И помощи бы не надо...

— Откуда, гражданка, у вас револьвер? — строго обратился ко мне начальник милиции.

— Я имею право на ношение оружия, как офицер.

Вероятно, слова мои прозвучали веско и внушительно.

— Как так — «офицер»? — удивился студент. Парни расхохотались, словно я сказала забавную шутку. Я молча вынула из сумочки мое отпускное свидетельство и протянула его студенту. Тот, удивленно взглянув на меня, стал читать вслух:

«Дано сие увольнительное свидетельство прапорщику женского батальона в том, что она...»

Все это звучало очень солидно. Парни ошалело смотрели на меня.

— Да брешет она, гражданин начальник, — презрительно сказал бледный мастеровой, вытирая платком вспотевшее лицо. — Откудова она, девка энтая, офицером бу-

дет? Уличная девка она и больше ничего. Али буржуйка переодетая.

Очевидно, почти также думал и пожилой студент. Он с сомнением поглядел на меня.

— В самом деле, борышня. Ваше ли это удостоверение? Вы еще так молоды.

— Дело вовсе не в возрасте, товарищ начальник, — холодно обрезала я его, — а в способностях. Я командир роты женского батальона и только сегодня утром приехала с фронта в Петроград.

— Так почему же вы не в форме?

— Как можно в толпу этой большевицкой сволочи (уроки Бочкаревой не пропали даром!) являться в форме офицера?

Студент опять перечитал бумагу.

— А как можете вы доказать, что это правда?

К сожалению, у нас дома не было телефона. В самом деле, как доказать? Внезапно спасительная мысль блеснула в моей голове.

— У вас в милиции есть сегодняшние газеты?

Все удивились.

— Да-а-а. Кажется, есть. А что?

— Дайте мне «Новое Время» или «Утро России».

Как раз в этих номерах были помещены фотографии командного состава нашего батальона. Мое лицо случайно вышло очень ясно. Когда газеты были развернуты, все с любопытством уткнулись туда. Действительно, хотя в группе я была в военой форме и с Георгием, узнать меня по лицу было не трудно. Да там стояло и мое имя. Пожилой студент с почтением воззрился на меня.

— Прошу прощения за свои сомнения, господин прапорщик, но, сами понимаете, редкий случай. Вы никого не ранили?

— Я стреляла только в воздух, чтобы напугать этих хулиганов.

— Имеете жалобу на этих граждан за хулиганство?

Я взглянула на мастеровых. Они стояли рстерявшиеся и угрюмые. Стоило ли на них жаловаться и, может быть, по-

садить их на несколько дней в тюрьму? Ведь оттуда они выйдут еще более обозленными!

— Нет, чорт с ними! Отпустите их... А только, вот что, товарищи, — строго обратилась я к ним .— Смотрите, в следующий раз осторожнее с вашей большевицкой агитацией. Не только еще раз по морде получите, но если попадетесь мне на фронте, расстреляю немедленно. Так и знайте.

Те полу-поклонившись, съежились и исчезли.

Начальник милиции вернул мне браунинг, и почтительно пожал мою руку.

— Честь имею кланяться, господин офицер.

Я с торжеством вышла. Дома папа весело смеялся над моими приключениями.

— Видишь, Нина, я был прав! У нас тут скоро станет куда более опасно, чем на фронте!

Мамочка только молча вздыхала.

ГЛАВА 10.

КРОВЬ И ПОДВИГ

Оказалось, что папа был прав. Когда мы с Бочкаревой приехали в батальон, там было совсем спокойно. Но уже через несколько дней в газетах появились кричащие заголовки о первом выступлении в Петрограде с лозунгами: — «Долой Временное Правительство» и «Вся власть советам». Ленин сдержал свое обещание о «новых боях» и предпринял первую репетицию октябрьской революции. Выступление было подавлено оставшимися верными Временному правительству частями, но этот день — 4 июля 1917 года — был первым серьезным приступом большевицкой лихорадки. Как мы все жалели, что НАС не было там! Эх, мы бы расправились с «пораженцами» много крепче и вычистили бы Питер на совесть!..

Но пока нам было не до наблюдения за внутренней жизнью страны; своих забот хватало. Мы узнали, что готовится серьезное наступление и что мы должны подать пример, начать атаку. После длительных митингов соседние части решили «наступлять», если мы, женский батальон, прорвем линии защиты противника. Как мы позже узнали, «все таки» наше присутствие подействовало на мужскую гордость; что то, вроде стыда, зашевелилось в душах солдат.

Генерал Валуев очень дипломатично прикомандировал к нам шестерых офицеров, под предлогом, что придает нам

пулеметы. Какая, де, может быть военная атакующая часть без пулеметов? А никто из нас, кажется, включая Бочкареву, управлять этими смертоносными машинами не умел. Генерал сделал тут двойной ход: с одной стороны придал нам настоящих боевых командиров — ну, какими же, по существу, боевыми командирами были я, Муся, Татуева и другие? Может быть, лично мы были храбрыми девушками, но для руководства настоящим боем этого было явно мало. Но было и еще одно: если в минуты опасности мы старались ни за что не проявить страха перед подругами, то перед мужчинами это желание было удесятерено. Мысль о том, что твое бледное лицо или трясущиеся руки с усмешкой наблюдает «какой то там мужчинишка» была непереносима! Так хотелось показать себе перед лицом этих дисциплинированных офицеров, георгиевских кавалеров, что мы — молодцы и вояки хоть куда! Но зато и эти офицеры также старались показать себя на все 100 процентов и выполняли свои обязнности отчетливо. На внешний взгляд они подчинялись Бочкаревой, но потом, в горячке боя, конечно, команда перешла к ним, особенно, к капитану Тарасову, суровому, загорелому до черноты, с маленькими, словно седыми, белыми усиками.

В начале все эти шестеро офицеров были настороженны и недоверчивы. Как ни говори — им вовсе не хотелось вляпаться в позорную и смешную историю, если бы к нашему батальону добавили бы прилагательное не только «женский», но и «драпающий». Наша трусость покрывала и их позором. Наша храбрость поднимала и их славу...

Наступило, наконец, памятное утро 7 июля. Атака была назначена на 9 часов утра. Артиллерия за два часа до нее начала бомбить немецкие окопы, чего уже больше месяца не было. Немцы отвечали и фронт стал походить на настоящий фронт.Мы все, несколько сот женщин, были на местах, крепко сжимая в руках винтовки и с замиранием сердца ожидая сигнала атаки. В голове не было никаких мыслей и вся жизнь была сосредоточена в ожидающемся слове «вперед»!

Тело боялось, но дух повелевал. Вот оно! Наконец-то, наступила историческая минута. Женский батальон ОДИН атакует на всем протяжении мертвого русского фронта. Мгновение — остановись!..

Я было совсем забыла свою роль ротного командира и не знаю, сколько времени была в оцепенении. На мое счастье капитан Тарасов пробегая мимо, дружески хлопнул меня по плечу:

— Хорошо, дорогой прапорщик! Очень хорошо!

Я так и не поняла, что именно «хорошо». Но в эту секунду, метрах в 20, грохнул разрыв снаряда и туча песку и земли пронеслась над нами.

— Вот, чорт, — с веселой досадой крикнул пригнувшийся к земле Тарасов, выпрямляясь. — А я как раз чистую гимнастерку одел. Теперь стирать придется...

И, сверкнув улыбкой, он исчез за поворотом окопа. Может быть, эти его простые будничные слова спасли меня: я не была уверена, что ноги поднимут меня в атаку.

Но вот — звук горна... «Вперед... Вперед»!.. Голос Бочкаревой разнесся слышнее горна. Мы все ждали именно ее команды. Все поле перед окопами сразу же покрылось нашими солдатами, выскочившими из окопов. Я знала по струйкам пыли, по падавшим телам, что противник открыл огонь по нас, но, право же, ничего не слышала. Наше «ура» было перекрыто более мощным «ура» соседних частей. В каком то опьянении самозабвения мы побежали вперед на немецкие окопы. Немцы рванулись было в контратаки против нас, но мы были, вероятно, похожи на диких волчиц, разъяренных и бешеных. И немцы, не ожидая стычки, повернули и побежали из своих окопов назад. Наше «ура» разлилось шире, и мы ворвались в немецкие окопы, бывшие уже пустыми. Справа и слева от нас соседи также заняли окопы и радостное беспричинное «ура» то и дело перекатывалось по ним. Через несколько минут пулеметная обслуга притащила наши пулеметы и спящие офицеры стали наскоро устанавливать их на брустверах. Ожидалась контратака.

Мы не знали, что делать дальше, как внезапно раздалась странная команда Бочкаревой:

— Первая рота — вправо, вторая — влево, бить бутылки!

Только теперь мы заметили, что немцы оставили в окопах громадное количество водки, коньяку, вина и прочего. Мы не обратили на это внимания, но «мужские части» уже на-

чали пьянку. Мы бросились по линиям окопов, но было уже поздно: почти у каждого солдата в руках была бутылка и, отставив в сторону винтовку, он жадно пил спиртное. Мы успели разбить несколько сотен бутылок, как опять раздался звук горна — сбор!

Мы бросились на свои места и замерли. Из второй линии немецких окопов застучали пулеметы, и серые валы немцев покатились в нашу сторону. До них было не больше 500 метров. Опьянение «победой» мигом прошло и опять сердце остановилось. Но сейчас же шесть пулеметов в руках наших офицеров загремели так внушительно, что немецкие цепи легли. Но не надолго. Через минуту они опять поднялись в атаку, и вот тогда то раздалась историческая команда Бочкаревой:

— РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ! Вперед! В атаку!

Опять волна возбуждения охватила нас и мы рванулись вперед по изрытому снарядами полю. Восемь сотен яростных женщин! Пронзительный вопль катился впереди нашей линии и, странное дело, именно он поразил немцев. Вероятно, они были уверены, что «бабы» побегут... Мы и в самом деле побежали, но не назад, а вперед, на них, с винтовками на перевес! И, — о позор германской арми, — немцы остановились, стали пятиться и, наконец, сами побежали назад. Только несколько из них отстали и были приколоты вырвавшимися вперед нашими солдатами. Так ворвались мы во вторую линию немецкой защиты. Бочкарева — красная, яростная, растрепанная с револьвером в руке, кричала охрипшим голосом:

— Вперед, вперед!..

Мы, не останавливаясь, побежали дальше. В третьей линии нам пришлось уже драться, но наш напор был так яростен, что бой длился недолго. И именно тут мне пришлось впервые убить человека.

Когда я, что то крича своей роте, бежала по краю окопа, вместе со своей неразлучной Лелей, что то обожгло мою шею. Я обернулась на выстрел и увидела, что, из за поворота окопа, в меня целится из револьвера германский офицер. Все это длилось долю секунды. Я вскинула винтовку и выстре-

жила. Наши выстрелы слились и что то дернуло мое плечо. Оказывается, его вторая пуля попала в приклад, отщепив кусок ложа. Моя же... Боже мой! Моя пуля попала ему в живот! Ох, как мне потом было страшно смотреть на его труп, окровавленный, скрюченый, с искаженными чертами лица...

Но в этот миг я не подумала над тем, что убила человека. Бочкарева все кричала «вперед» и мы рвались дальше...

Потом, когда я читала про этот бой в газетах, оказалось, что мы прорвали четыре линии неприятельских окопов (или, красивее выражаясь, укреплений). Бочкарева была готова рваться и дальше, но подоспевшие офицеры «почтительно» посоветовали ей укрепиться на захваченном. Наш командир был достаточно опытным солдатом, чтобы не видеть, что мы все смертельно устали и что победа — победой, но не с одним женским батальоном прорывать весь фронт (Она бы хотела, я знаю!).

Без сигнала, без команды мы просто повалились на землю в полном изнеможении. И только спасибо нашим офицерам — они позаботились о нужном: сейчас же был протянут телефон в тыл, вызваны санитары, походные кухни — словом, что полагается для закрепления победы... А мы, победители, лежали без сил на земле, измученные и еще не доверяя самим себе: неужли мы, женщины, прорвали немецкий фронт?..

Я и сейчас готова скрипеть зубами от ярости, вспоминая, что соседние мужские части, дорвавшись до водки, не двинулись дальше ни на шаг. Напрасно офицеры и даже их выборные комитеты приказывали им двигаться вперед, закрепить победу.

— Наступляй сам, если хочешь, — отвечали им и опять тянулись к бутылкам.

Наш же прорыв был 1½ километра в ширину и почти 2 — в глубину. Но так как мы не были поддержаны, то оказались этаким клином в германских линиях. Было совершенно очевидно, что нам никак не избежать контр-атак. Удержимся ли мы?.. Но эти мысли волновали «высшее наше командование» — наших милых офицеров.

Мы же лежали, глядя в ясное синее небо и не думали ни о чем. Секундами мне казалось, что все это только сон, и

что — вот, вот — я почувствую ласковое прикосновение маминой руки и услышу ее спокойный голос:

— Вставай, Ниночка,! Пора!.. В гимназию...

Но выстрелы раздавались опять, все чаще и чаще; все больше ныла царапина от немецкой пули на шее и все яснее возвращалось сознание действительности. Нет, я была уже не гимназисткой Ниночкой, а командиром роты женского батальона, находящегося в бою. И чувство долга подняло измученное тело и заставило забыть переживания и ощущения. Le vin est tire — il faut le boire! (Вино откупорено — надо его допит!»)

Лежащие «трупы» шевелились то здесь, то там, вставали и превращались в моих солдат. Кое-кто не поднялся совсем, но наша санитарная служба была поставлена образцово и мы, слава Богу, мало замечали своих убитых и раненых; их сейчас же убирали или увозили в тыл. Думаю, что на это было специальное приказание, чтобы не ослаблять духа видом наших убитых. Немецкие трупы как-то действовали много слабее...

Но что показалось мне самым ужасным, так это вывороченные ступни ног у трупов. До чего это было страшно! И как не похоже на мирные смерти каких-либо старенькие бабушек, мирно засыпавших навеки у себя дома... Но для ощущения не хватало времени — жизнь мчалась оглушающим бурным потоком.

Через несколько минут, мимо моей роты, прошел конвой 4-ой роты, самой маленькой по росту, ведя взятых пленных. Было страшно комично смотреть, как эти маленькие солдатики вели сотни немцев, солидных бородатых людей. Немцы шли, с удивлением поглядывая по сторонам, словно еще не веря поражению.

Действительно, было чему удивиться: после двух месяцев тихой и спокойной жизни, вдруг налетела кака то яростная мелюзга, не дала опомниться и теперь ведет в плен. Среди пленных было и несколько офицеров; как потом оказалось, мы взяли в плен штаб их батальона — никто у них, вероятно, не ждал такой атаки. Особенно запомнился мне один штабной майор — типичный пруссак, высокий, худой,

элегантный с маленькими усиками а-ля Вильгельм и с моноклем. То ли он спал во время атаки, то ли был «с перепою», что для него все это сперва казалось шуткой. Когда же он понял окончательно, что взят в плен женщинами, его лицо выражало не только остолбенение, но откровенное омерзение к самому себе. Он дико оглядывался по сторонам и все время повторял:

Teufel! Donnerwetter! Gefangen durch Frauen! Unmoeglich! Teufel! *)

Девчата потом передавали, что он стал проонть револьвер, чтобы застрелиться, и когда ему было отказано (он ведь был украшением нашего победного венка), стал дико кидаться на штыки, чтобы найти себе смерть. В конце концов, конвой вынужден был связать ему руки...

Как нам сообщила Бочкарева, мы взяли в плен до 200 немцев, из них 8 офицеров. Да, что и говорить — это был славный день — 7 июля под Крево...

Через час с запада загремела немецкая артилерия. Мы спрятались в блиндажи, но, увы, они были устроены, чтобы противостоять попаданиям снарядов с востока, а не с тыла. После часа обстрела немцы пошли в атаку, но были встречены таким сосредоточенным огнем наших пулеметов и всех наших винтовок, что отступили и скрылись. Как то незаметно подошли сумерки. Мы комфортабельно устроились в германских окопах, построенных куда лучше наших, и после сытного ужина — (ах, спасибо кашеварам: гречневая каша с салом была настоящей поэмой!) уснули мертвым сном. Сознание говорило, что вот здесь, в этих окопах, только сегодня были убиты десятки людей, но усталость взяла свое. Да и сознание, что батальон уже проявил себя достойным своего имени — «батальон смерти» — поднимало наш дух до смешного. Казалось, что весь фронт уже прорван и Россия спасена! И именно русские женщины, начали эту решающую операцию, которая закончится победой русского оружия...

Утром опять заботливо и энергично забегали наши «пестуны» — милые офицеры, превратившиеся за один день

---

*) — Чорт! Скандал! Взят в плен бабами! Невероятно! Чорт!

из соперников в братьев. Пожалуй, они больше нас были горды победой. Всем было ясно, что нам не избежать боя за удержание завоеванных линий. Бочкарева висела на телефоне и умоляла артиллерию поддержать. Но, судя по ее озлобленному лицу, дело было плохо. А мы были беззаботны и веселы. Нам подвезли первоклассный борщ, консервы, молоко, шоколад, каких то английских печений — говорили, что это специальный подарок миссис Панкхерст. Настроение было нервное, но бодрое. Мы старались не спрашивать о тех, кого уже не было в наших рядах. Бой еще не кончился

Наконец, загремела опять вражеская артиллерия. Она била не только из тыла, но и с боков, пользуясь тем, что наши соседи, чорт бы их побрал, не проявили активности и позволили подвести орудия с флангов. На этот раз, по знакомым «своим» местам, немцы били очень точно. Увы, нам, «империалистам», наши артиллеристы помочь не хотели.

Помощь пехотными частями также не приходила. Вся девятая дивизия митинговала — помочь или не помочь? Шли часы обстрела, а помощи не было ни откуда, если не считать помощью нескольких храбрых журналистов, русских и иностранных, забравшихся к нам в окопы. Один из них, черненький, маленький англичанин, похожий на жука, с крошечным фото-аппаратом и складной пишущей машинкой, под разрывами снарядов спокойно стукал свои корреспонденции. Мы относились к нему, как к полковому безобидному животному.

Наши офицеры хмурили брови. Уже было несколько прямых попаданий и десяток трупов и раненых унесли в тыл. Становилось все жарче и жарче. А немцы, видимо, решили «разгвоздить» нас артиллерией и после забрать голыми руками. Положение становилось все тяжелее. Отступать назад — два километра по чистому полю, под огнем нескольких пристрелянных батарей, было бы явным безумием. А немцы не шли в атаку; они били и били снарядами. Бой начинал походить на простое избиение, а русская артиллерия молчала. Мы, сотни женщин, беспомощно сжимали в руках винтовки и настроение падало с каждой минутой... Откровенно сказать, было просто страшно — это ведь бездействие кровь и смерть. То здесь, то там виднелись побледневшие лица и расширенные ужасом глаза...

Мне, почему то, вспомнился рассказ о Суворове, который заметил смертельный испуг какого то молодого солдата.

— Ничего орел! — воскликнул он. — Иди-ка сюда ко мне поближе! Я ведь тоже трус, да только скрываю это. Ничего.

Он потрепал «труса» по плечу и тот ободрился...

Сколько раз и мне приходилось почти также ободрять своих солдат, не показывая им вида, что у меня в душе тоже все дрожит и кричит от страха. Дух наш был сильнее слабого женского тела, но, несмотря на общее стремление задавить внутри страх во что бы то ни стало, бывали и срывы. Недалеко от меня, солдат моей роты Козопойг, прекрасный стрелок, «снайпер», не выдержала напряжения и «сорвалась». В истерическом припадке, не имея сил больше терпеть это напряжение, она вдруг рванулась из блиндажа и выскочила наверх. Снарядом ее разорвало на куски. Да, в нас было больше порыва, чем выдержки. Ждать было нам тяжелее всего.

Бочкарева видела и чувствовала это. Она наскоро собрала всех офицеров, — женщин и мужчин, — и временный выход был найден. Был дан приказ: оставить занятые окопы и перебираться в соседний лес. Этот знаменитый впоследствии Ново-Спасский лес, обильно политый нашей кровью, был небольшим, этак километр — на километр, но довольно густым. и с крупными соснами. Там германская артиллерия не могла очень уж развернуться и причинить нам большого ущерба. Взвод за взводом, по ходам сообщения, наш батальон стал покидать завоеванные окопы и перебираться в лес. Это заняло около получаса и я, со злорадным ликованием, отметила, что еще целый вечер и часть ночи немцы продолжали интенсивный обстрел своих пустых окопов. Мы же тем временем вырыли временные окопы на опушке леса, построили кое-какие блиндажи в глубине его и стали ждать событий.

Ночью наши молодцы кашевары (они были полны к нам своеобразного обожания и старались во всю) опять снабдили нас едой. Ночь на наше счастье была теплой, на разрывы снарядов неподалеку мы уже не обращали внимания и на чудесно-мягкой, пахучей сосновой хвое неплохо проспали ту памятную ночь перед новыми боями.

Бочкарева (когда она только спала?) ходила от группы к группе, ободряла, шутила, болтала. Как то заметив в моей группе, что кто то закуривал третий от одной спички, она строго запретила это. На вопрос «почему» сказала:

— А это мне разъяснили, почему. Годов с 15 тому назад голландцы в Африке дрались с англичанами. Ну и вот, хорошо стреляли те голландцы-буры; прозвание такое им было. Охотники все. И ночью, как какие англичане закуривали в окопах, ну, скажем, шагах в 200-х, так хороший стрелок завсегда успевал прицелиться по зажженной спичке, пока она третьему курцу подносилась... Много народу через это погибло. Ну, с тех пор и повелось — ни на фронте, ни в тылу военные третьему закуривать не дают. Может, это и не так, но, как говорится, с пулей лучше не оченно шутить. Она, пуля, уважение любит. Не дразни ее...

В этот период все мы стали как то глубже, лучше, человечнее и религиознее. «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался», говорит русская пословица. Кто в лицо смерти не глядел, тот мало о Боге думал... В острые моменты боя земля казалась нам родной матерью-защитницей, а сверху нас покрывала воля и милость Божия. И Бог говорил нам Своим голосом, голосом совести, что мы, Его маленькие дети, исполняющие свой маленький долг. И на душе, хотя кругом был ад кромешный, было тихо, ясно и спокойно. И спали мы, как маленькие дети, крепко, без снов, несмотря ни на что.

Впрочем, мне лично приходилось спать мало — положение обязывало. Мне приходилось проверять сторожевые охранения, а однажды утром пришлось пережить и одно из самых страшных испытаний в моей жизни.

На рассвете мне нужно было проверить посты. Занималась заря и все было покрыто едва начавшим розоветь туманом. Со своей винтовкой, носившей след пули убитого германскского офицера (как я хотела сохранить на память эту винтовку!), в сопровождении неразлучной Лели, я пошла в обход. На опушке леса меня окликнули обычным:

— Кто идет?

— Командир роты.

— Пароль?

— Отзыв.

— Проходите, товарищ командир.

— Где охранение?

Часовой в нахлобученной до ушей фуражке, в шинели с поднятым горотником (не для тепла, а, вероятно, для уюта — он был сонный и усталый, хотя и бодрился) показал направление:

— Один во-о-он там, в ложбинке у кустов. А другой правее, у разбитого дерева. Отсюда не видно, но с первого поста вам укажут.

— Спасибо.

— Счастливо, товарищ командир.

Мы с Лелей отправились дальше. Метрах в двухстах нас опять окликнули — охранение не спало. Там находились четыре наших солдата. Двое были впереди в секрете. Все было в порядке и я уже сделала несколько десятков шагов в сторону второго поста, как внезапно из утреннего тумана вынырнуло несколько фигур. Вырисовывались круглые каски, блеснули острия штыков.

— Хальт!.. Здавайтесе руссе!

Господи, что это был за момент! Сердце остановилось в груди, а потом забилось, как бешеное. Как, сдаться? Мне, прапорщику Крыловой, после вчерашних героических боев, сдаться тут же, около своего батальона? Да, никогда!

Леля выстрелила первая. Немцы, — их было шестеро, — бросились вперед. Я, не целясь, также выстрелила раз, другой в неясные, движущиеся фигуры. Кто то массивный, страшный, грозный возник передо мной, как наваливающаяся гора. Я мгновенно отпрыгнула в сторону и резким сильным движением бросила вперед винтовку... Ах, это отвратительное ощущение сопротивления штыка в живом теле!.. Немец с глухим ревом повернулся, я почувствовала толчок и боль в плече и упала. Мне показалось, что немец падает на меня и потеряла сознание. Когда я очнулась, надо мной склонилось встревоженное лицо Лели.

— Скорей, скорей, Нинка! Надо уходить. Немцы идут в атаку!

Я вскочила на ноги. Левое плечо нестерпимо болело. Оказалось, немецкий широкий штык прорезал шинель, нанеся косую рваную рану. Но сам немец лежал рядом мертвый; мой

штык пробил ему шею. Как он, уже падая, мог еще меня ударить — тайна боевого возбуждения.

Оказалось, что нас выручил наш пост, прибежавший на подмогу. Именно их пули свалили двух немцев и ранили одного. Двое других, легко раненые, достались нам в плен, но зато одна курсистка была убита наповал, а другая тяжело ранена.

Мы были бы героями дня, еслиб, вслед за нашей стычкой не были вынуждены отбивать новую немецкую атаку. (Ох, написала «героями», а самой стыдно вспомнить, как в тот памятный вечер мои нервы совсем сдали. Как то, совсем внезапно, руки и ноги похолодели, тело покрылось потом и сердце заколотилось, как бешеное. Я, как во сне, сказала неразлучной Леле — «я сейчас приду» и, шатаясь, залезла в пустую землянку. Рев убитого немца и скрип штыка в теле преследовали меня, как кошмар. Я забилась в угол и затряслась в рыданиях. Именно эти минуты были самые страшные. Мне казалось что я совсем сломана... Но вот опять прозвучал боевой горн, слезы сами высохли и я опять рванулась наверх, на свой пост.) Опять наш огонь был так яростен, что немцы отступили... Когда я теперь вспоминаю наше сопротивление, мне кажется, что нам много помогло то, что немцы лучшие свои молодые части отправили на западный фронт и нам пришлось иметь дело с второстепенными войсками. Но и они, видимо, узнав, что против них стоит только один батальон и, вдобавок ЖЕНСКИЙ, рвались вперед, не щадя своих жизней, чтобы отомстить за поражение. Наши пулеметы собрали богатую жатву; все поле перед нашим лесом было скоро покрыто убитыми и ранеными.

Так начались кошмарные дни и ночи наших боев в Ново-Спасском лесу. Без поддержки, без артиллерии, мы выдерживали то ураганный обстрел снарядами, то атаки. Немцы, видимо, напоенные водкой, шли в атаку с криками:

— Русс, давай нам баб!..

Уже это одно доводило наше сопротивление до высшей степени ярости и отчаяния. Мы в это время были не только русскими солдатами, но и кучкой женщин, окруженных мужчинами, жаждущими смыть позор своего поражения повальным изнасилованием побежденных победительниц.

Несколько раз мы сами поднимались в контр-атаку. Ка-

кое то дикое опьянение овладело нами. Мы стали чем то средним между людьми и разъяренными тигрицами, рысями, кошками или чем хотите еще. Бочкарева была ранена и увезена в тыл. Двое наших мужчин-офицеров погибло. Капитан Тарасов охрип от команд и был вездесущ. Его пулемет встречал нападавших страшным дождем. Но подбадривать нас было не нужно. Ни у кого не было даже мысли об отступлении или сдаче. Измученные, с ввалившимися глазами и почерневшими лицами мы не хотели ни сдаться ни отступить. Наши плечи опухли от стрельбы, мускулы ныли от усталости, но мы держались. Муся Скрыдлова, эта почти 17-летняя девочка. оказалась блестящим командиром. Она также, как и Тарасов, была везде в одно и то же время. Мы забыли думать о сне и еде; ели и спали механически; санитары и кашевары помогали нам безтрепетно и самоотверженно. Сколько было убитых, сколько раненых — никто не хотел и думать. Я сама с двумя старыми, опять открывшимися и двумя новыми ранами, все время сочившимися кровью, не могла стрелять, но была все время со своей ротой. Часто, когда немцы приближались на расстояние ста метров и их раскрытые орущие рты были видны совсем — я стреляла из револьвера, не думая об опасности, пока серая толпа не откатывалась обратно. Немцы подвозили подкрепление за подкреплением и лезли вперед по полю, через трупы своих солдат.

Время для нас исчезло. Только в душе как то ликующе пело — «мы не сдадимся никогда». Ах, если бы тогда к нам пришла подмога! Мы бы отбились, и бой под Крево, бой в Ново-Спасском лесу вошел бы в историю Русской Армии не только героической, но и победоносной страницей!..

Ночью на пятый день беспрерывных боев пришел приказ начальника дивизии отступать. Нас хотели и могли окружить. Немцам, конечно, очень хотелось взять в плен женский батальон целиком, чтобы загладить, хоть чем либо, свои поражения и продемонстрировать нас на улицах Берлина. И вот ночью на пятый день, еще в темноте, с тяжелым сердцем покинули мы неглубокие окопы, залитые нашей кровью и потянулись назад. Свинцово было на душе. Силы совсем покинули нас; ведь все это время мы держались только на нервах, на каком то резерве сил, который есть у каждого человека, но особенно богат у женщины. Теперь было ясно, что даже этот богатый резерв сил истощен.

На наше счастье немцы не заметили во-время нашего отступления и не провожали нас обстрелом. Молча, этакой похоронной процессией, мы вернулись в старые свои окопы, кое-как поели и сейчас же отправились в тыл на отдых. Шатались, почти ничего не видя, запыленные и измученные до последнего предела, уже не солдатами, а доведенной до изнеможения толпой полумертвых женщин, дошли мы до предназначенных нам бараков и, не снимая шинелей, повалились на нары и заснули тяжелым сном...

ГЛАВА 11.

ПЕРЕДЫШКА МЕЖДУ ГРОЗАМИ

Отоспавшись и очнувшись от пережитого ужаса, мы узнали, что за эти дни наш батальон потерял больше 100 убитыми и 192 ранеными; 8 пропало без вести и что с ними стало, мы так никогда и не узнали. По всей вероятности, ночными взрывами снарядов они были разорваны на части. Много легко раненых осталось в строю, как я, например. Нас перевязали и мы начали приходить в себя.

Нечего было и думать отправляться опять на фронт — мы были обессилены и, главное, не было уже веры в необходимость нашей жертвы.

Хотя газеты всей России были полны описаниями наших подвигов, хотя везде пестрили наши фотографии и повсюду превозносили наши победы, а ряд полков прислал нам торжественные адреса и иконы, было все таки очевидно, что выступление нашего батальона не дало ожидаемых результатов. Вернее, результатов, на которые надеялись. Если наш порыв и прорыв не смогли увлечь даже рядом стоявшие части, то что можно было ожидать от всего фронта, который только ЧИТАЛ про наши подвиги? Увы, наше выступление оказалось запоздавшим.

Армия была уже слишком глубоко разложена, чтобы могла восстать от своего позорного оцепенения. Лихородив-

шая страна не почувствовала облегчения от кровопускания. Судьба женского батальона оказалась, хотя в полной мере героической, но в той же мере и трагической...

Фронт опять замер. И в это время другие события заслонили и наш подвиг и жизнь фронта вообще. Начался бой между двумя крупнейшими людьми страны — генералом Корниловым, главнокомандующим русской армией и Керенским, министром-президентом. Корнилов, видя приближающуюся революцию и крушение России, потребовал принятия самых суровых мер против разложения страны и армии. Керенский, сам революционер, мечтал сохранить свою власть и справиться с волнениями «бескровно». Любопытно, что в борьбе против Корнилова он был поддержан даже большевиками; им было легче иметь дело с безвольным «главноуговаривающим», чем с волевым суровым солдатом. Известно даже выражение Ленина об этой временной поддержке Временного Правительства. Хитро щуря свои монгольские глазки, он ехидно сказал:

— Мы их поддержим с удовольствием и готовностью, как... веревка поддерживает повешенного...

Пока мы в томительном бездействии стояли на фронте, внутри страны произошел взрыв. Корнилов отказался подчиниться Керенскому и пошел с войсками на Петроград, чтобы сменить там временное правительство и установить твердую власть, но этот поход не удался. Железнодорожники забастовали; большевики пустили в воинские части свои лучшие агитаторские силы и, в результате, Корнилов ушел со своего поста. Последний шанс на спасение Росии пропал. Отравленная ядом большевизма страна катилась уже безостановочно в бездну хаоса. Фронт стал разваливаться все больше. Война потухала сама собой. «Окопная Правда» шла миллионным тиражем; слава Керенского меркла все больше и больше. Дьявольская усмешка Троцкого и ехидная — Ленина царствовали над душами миллионов людей. Все было позволено. Не было закона, не было власти.

Большевики готовили свое царство. Рабочие были оглушены перспективой, что после раздела капиталов каждому придется по 20.000 рублей на брата, крестьяне, ослепленные перспективой, что после раздела земли, каждому придется по 100 лишних бесплатных десятин на человека, что

скоро наступит подлинный рай на земле и что этот рай придет только с наступлением власти большевиков. Для Ленина — «цель оправдывала средства» и было морально то, что служило мировой революции. Ему нужен был развал армии и власти. Его деятельность была на руку немцам. Не напрасно же они, позволили ему, во время войны, через Германию проехать в Россиию и снабжали средствами для ведения агитации. Сами они опасались предпринять что либо активное на фронте, не желая вызвать вспышку патриотизма в русской армии. Они могли легко прорвать фронт, но не желали возбудить в русском народе инстинкта защиты своей страны. Этого как раз не понял в 1941 году Гитлер, перейдя, вопреки мнению генерала Браухича, линию Днепра и войдя глубоко в пределы России...

В тот период — конец лета 1917 года, — немцы перебросили почти все свои силы на западный фронт и, с полным основанием, ожидали смерти русской армии.

Наше положение было, между тем, совсем идиотским. После нашего блестящего наступления и трагического отступления, мы отдохнули и вновь заняли линию наших окопов. Но войны мы уже не вели; это было бесполезно. Наши соседи слабели все больше и больше. Там были уже случаи самосудов над офицерами и каждый день вереницы дезертиров уходили к себе домой. Снабжение фронта, еще по инерции, продолжалось, но уже начиналась подлинная агония русской армии. Мы по-прежнему оставались дисциплинированной и стойкой военой частью и это все больше раздражало другие полки. Много раз нас обстреливали свои же части, но мы не отвечали, как это ни было горько и больно.

Мы ждали... чего?

Это ожидание было страшно томительным и тягостным. О нас все уже забыли. Газеты перестали печатать восторженные очерки о «героях-женщинах», войны не было и наше существование становилось все более и более бесцельным. Какие то штабы объявили нам о новом производстве в следующие чины, вероятно, для «утешения». Это теперь мало радовало.

Бочкарева все время «моталась» между фронтом и столицей и, на мое счастье, разрешила мне ездить с ней в отпуск. Так побывала я в Питере и там однажды судьба пора-

довала меня несколько театральной встречей с моим милым Жорой.

Как то, в конце августа, я со своей неразлучной Лелей (теперь фельдфебелем моей роты, но по существу, той же милой, верной гимназической подругой, что и раньше) поехали в Петроград. Железные дороги еще кое-как работали и, свежие и отдохнувшие за сутки езды в офицерском вагоне, «отцепившись» от Бочкаревой, вышли мы на перрон Николаевского вокзала. Завернули в буфет, подкрепиться. Деньги у нас были, — шло двойное фронтовое жалование, а тратить его было некуда, — мы не пили и не курили. (Мамочка в деньгах не нуждалась).

В сутолоке вокзальной толпы мне вдруг показалось, что я заметила лицо Жоры. На секунду сердце почему то дрогнуло. Неужели он? Но снова незнакомые лица замелькали перед глазами.

Леля заметила, как я вздрогнула.

— Ты что это? — удивленно спросила она.

— Ничего... Так. — медленно ответила я, не сводя глаз с той точки, где мне почудилось лицо моего «солдатика».

Я сама удивилась своему волнению и очень рассердилась сама на себя. Вот еще выдумки? Неужели я в самом деле влюблена? Это я то — офицер, георгиевский кавалер?... Невозможно! Словом, я была очень зла на себя.

Мы с Лелей отправились к нам. Моя подруга не очень спешила к своей тетке; там была скучная атмосфера дряхлости. А она была милым живым товарищем, хотя и лишенным способности распоряжаться и командовать. Только поэтому она не добилась офицерских погонов, но ее лычки фельдфебеля и Георгий были честно заслужены храбростью.

У мамочки все было по старому. Папа был на фронте, Леля где то в своем лазарете. Мы очень уютно пообедали. Мама не скрывала своей радости, что на фронте боев больше нет и ей не нужно бояться за жизнь еще и младшей дочери. Муж и две дочери на фронте — действительно, материнскому сердцу было от чего ныть болью и тревогою.

Леля решила вытащить меня вечером в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Мы вымылись, переоделись в парадные костюмы — конечно, военные (у нас в Питере всегда были в запасе полные комплекты нового обмундирования),

прихорошились, как только позволяли военные законы и отправились в театр.

Было страшно приятно оторваться от лихорадки политического напряжения, забыть про фронт, кровь, вшей, большевиков и окунуться в мир красоты, чистоты и музыки. Мне хотелось бесконечно сидеть в мягком кресле, слушать и впитывать в себя музыку, словно лечиться этим от другого мира, которым была так отравлена душа. Душа 18-летней девушки...

Но этот вечер не дал мне покоя. Он был насыщен событиями, правда, мирными, но все же событиями. Уже в первом антракте веселая, проказливая Лелька уговорила меня предпринять очередную «женскую провокацию». Мы вышли в фойе и оттуда зашли в уборную. Ну, конечно же в женскую! Тут, как обычно, разыгралась траги-комедия. Дамы, увидев в «их» уборной двух военных — офицера и солдата, подняли крик. Я уже не первый раз была в такой переделке и выработала свою манеру действия: небольшую театральную сценку.

— Вон!.. Вон сейчас же!.. Какое нахальство! Потрудитесь сейчас же выйти отсюда... А еще офицер! Вероятно, пьяный?...

— Послушайте, мадам, — спокойно уговаривала я их на самом низком тоне своего голоса. — Да, не волнуйтесь вы так! Дайте мне вам объяснить...

Я нарочно говорила медленно и спокойно, растягивая слова. Но это только подливало масла в огонь. На меня обрушился общий негодующий вопль:

— Вон, вон сейчас же!.. Он еще разговаривает? Вызовите милицию! Дежурного адьютанта!..

— Но, мадам, как же полиция сюда войдет? Они ведь — мужчины!

— Все равно... Комендант... Пусть вас арестуют!..

Удивительное дело, до чего меняется к худшему женское лицо в минуты ярости. Мужское становится более значительным, а женское смешным и некрасивым. Не удивительно, что мы с Лелей, боевые солдаты, видавшие атаки покруче бабьих, только улыбались, стоя среди этого вихря бушующих страстей.

— Но позвольте, — пустила я, наконец, решающий удар. — Почему бы нам не воспользоваться вашей уборной?

— Но это же уборная для женщин!

— А почему вы думаете, что мы мужчины?

Нужно было видеть перемену в выражениях лиц, блеск догадок, первые улыбки, первый смех!..

Все, как обычно, закончилось благополучно, но на этот раз одна из дам нас малость подвела. Вероятно, о случае в уборной она рассказала своему мужу, не как о скандале, а как о наличии в театре женщин-солдат и во втором антракте мы испытали второе приключение. Как известно, в театре в антрактах офицеры должны стоять. Это, собственно, скорей обычай, чем закон, но, конечно, вышколенные Бочкаревой, мы с Лелей стояли в проходе у кресел. Нужно сказать, что в театре было так много военных, что только соседи, да и то внимательные могли заметить, что мы не мужчины. Часто это было нам даже приятно... Но на этот раз какой то пожилой господин с седой головой и лицом артиста, вгляделся в нас, и внезапно подойдя к рампе, обратился к залу.

— Господа! Я прошу минутку тишины...

Зал притих. Разговоры прекратились...

— Господа, я счастлив обратить ваше внимание на то, что среди нас находится один из героев женского батальона Бочкаревой, неизвестный мне по имени подпоручик. В дни, когда на улицах господствуют трусы, дезертиры и темный элемент, тем отраднее здесь, среди нас, приветствовать офицера-женщину и его товарища или, вернее, подругу по героическому батальону. Вот они, господа (он широким жестом указал на нас). Их боевые отличия и знаки полученных ранений ясно говорят, что в их лице мы можем от всего сердца приветствовать тех, кто пытался и пытается сейчас спасти нашу погибающую Родину...

Боже мой, что тут началось! Какие овации, какие аплодисменты! Сколько было искренности в этих приветствиях, в этих улыбках. Все требовали, чтобы я выступила с ответным словом, но когда на меня стали очень уж нажимать, я вышла вперед и коротко сообщила, что наш командир, поручик Бочкарева, запретила нам выступать с речами. Честный русский солдат должен быть скромен и молчалив, особенно в эти дни митингового сумасшествия. Бог помог нам выполнить наш боевой долг, а ораторская трибуна не наше место...

Мои слова, по существу говоря, тоже были маленькой речью. Она хорошо мне удалась и опять, долгое время, не смолкали горячие аплодисменты. И, признаться, долгое время не затухало взволнованное биение сердца. Как ни говори, такие минуты дают какое то моральное удовлетворение за пережитые страдания и пролитую кровь. Было отрадное чувство, что ВСЕ ТАКИ наш подвиг не прошел незамеченным. Русские люди почувствовали его величие...

В следующем антракте, чтобы избежать «глазенья» и повторения приветствий и разговоров, мы с Лелей сразу же вышли в фойе и тут то, в дверях, я носом к носу столкнулась с... Жорой!.. Он имел место где то сзади, узнал меня в, так сказать, период чествования, но не успел подойти.

— Да и как к тебе было подойти, Нина? Ты ведь теперь совсем герой. Пожалуй и не взглянешь на меня?...

Глупый! Если бы он мог чувствовать, как бьется мое сердце! Он был совсем прежний, юный, розовый, с той же милой ямочкой на подбородке. На его кителе были уже погоны прапорщика. Но, после пережитого, я чувствовала себя, при всей искренней радости его видеть, не «Ниночкой», а его старшей сестрой. Да еще я оказалась выше его чином и орденом. Правда, совесть говорила, что все это больше декоративное, чем по-настоящему заслуженное, что мужчине, для такой головокружительной карьеры, нужно было бы сделать много больше моего. Но... разве женщина бывает вообще объективна и справедлива?

В общем, было очень радостно и приятно. После театра мы втроем «закатились» в «Медведь», знаменитый питерский ресторан и поужинали там на славу. В ресторане тоже не обошлось без приветствий и оваций, особенно потому, что настроение там было подогрето родимой российской водочкой. Как и папе, моему Жоре эти овации доставили больше радости, чем мне. Он был человек, не знавший зависти (и остался таким, надо добавить).

Трогательно вспомнить, как упрашивал он меня переодеться в «настоящее платье» и полазить с ним по островам. Я не очень брыкалась; мне и самой порой приятно было перестать быть героем, а превратиться в шаловливую, веселую, «уютную», как говаривал Жора, девушку. Ну... тут Жора

опять получил мои губы «во временное пользование», как он шутя говорил. В военной форме я бы никогда его не поцеловала, но в женском легком, мягком платьице, превращавшем меня опять из солдата в женщину, губы как то сами тянулись к милым губам...

ГЛАВА 12.

СМЕРТЬ БАТАЛЬОНА

Поездки в Питер, увы, были редки. Мы жили на военном положении то в наших окопах, то в бараках в тылу. Питание было превосходное, усталость и потрясения как-то прошли и мы были полны боевого задора. Как ни говори, вера в себя — самая важная пружина в жизни человека!..

Бочкарева чаще была в Петрограде, чем в нашей части. Мы ждали неизвестно чего. И наконец дождались...

В один из ясных августовских дней Бочкарева приехала к нам в сопровождении генерала Валуева, начальника дивизии. Он устроил небольшой, так сказать, домашний смотр нашим поредевшим, но по-прежнему бодрым бевым рядам, произвел многих в следующие чины и наградил наших солдат георгиевскими крестами, а офицером — орденами Св. Георгия. Потом он произнес небольшую речь, тихо, мягко и с горечью:

— Не довелось вам, господа, помочь родине. Вы сами знаете, что делается в стране. В этих условиях я не думаю, чтобы дальнейшее существование вашего батальона было целесообразным. Но все предоставляется вашей совести. Я не могу приказать вам уйти с фронта; я сам старый солдат и останусь здесь до конца. Но я благословляю вас на этот тяжелый подвиг — уйти с бесцельного поста. Может быть, теперь, родные мои, ваш русский долг не погибнуть здесь напрасно, а

сохранить ваши жизни для будущего. Какое будет это будущее — Бог знает...

Твердый, звонкий, привыкший к команде голос генерала вдруг сломался. Мы стояли в строю — несколько сотен женщин, украшенных последнею милостью России, орденами славы и со сжавшимися сердцами слушали последнее напутствие стараго генерала. Было тепло и ясно. Фронт молчал, словно и не было двух линий людей, с оружием в руках, втечение трех лет боровшихся друг с другом. Эта вот тишина, это мертвое молчание ощущались тяжелее всего. Было что-то похоронное во всей этой картине, словно мы хоронили свою Родину...

— А теперь, вот что, дорогие мои, — продолжал наш генерал тихо и задушевно. — Я скажу вам еще несколько слов, не как начальник, а как старый солдат. Война заканчивается. Страна обессилена и больна. Не будем проклинать никого. Не люди, а Бог руководит жизнью. Мы все, русские солдаты, выполнили с честью наш долг. А остальное... я повторяю слова Великой Молитвы: «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ»... Я, старый солдат, буду всегда горд тем, что под моей командой вы совершили ваш незабываемый подвиг. И от имени нашей Родины, нашей любимой вечной России, всем вам низкий земной поклон!

Старик снял фуражку и поклонился нам до земли.

Все мы были потрясены. Мы не ждали такого исхода. У многих на глазах стояли слезы. Бочкарева не знала, что ей делать и в смущении оглядывалась на Мусю. У той по щекам ползли слезы. А старик генерал, с видом полной безнадежности, махнул рукой, быстрыми шагами пошел к поджидавшему его автомобилю, сел в него и уехал. Молчаливые и подавленные мы разошлись по своим окопам.

Через несколько дней все худшее сбылось. Бочкарева которая опять уехала в Питер, привезла оттуда грозные сведения, что сам Ленин обратил внимание на то, что на фронте имеется последняя воинская дисциплинированная часть, которая не имеет комитетов, не читает «Окопной Правды», не братается и, видимо, сохранила свою боеспособность. Это ему показалось опасным, ибо в борьбе за власть Керенский мог перебросить нас в столицу и, Бог нам свидетель, мы бы не дали большевицкой сволочи вести свою подлую политику.

Ленин знал, что мы драться умем. Десятки раз уже соседние части присылали к нам делегации с требованием ра-

зоружиться. На «вежливые» требования Бочкарева лаконично отвечала:

— Приди и возьми.

Если же какой нибудь шустрый и нахальный делегат наглел больше положенного и начинал угрожать, Бочкарева делала свирепую мину, давала ему по морде и вызывала дежурный взвод. Мы были так хорошо вышколены для таких действий, что не проходило нескольких секунд, как взвод с винтовками выстраивался сбоку, молчаливый, угрюмый, неподвижный и угрожающий. После атмосферы митингов и уговариваний делегаты начинали быстро понимать, что они попали в другой мир и мгновенно убирались во-свояси. Такая тактика Бочкаревой, естественно, накаливала соседние части и эта злоба распространялась все шире. Кроме того, мы были, как бельмо на глазу, у разлагавшихся частей. У нас был порядок, о нас говорили, нам шло прекрасное снабжение, мы носим свою форму с гордостью, все были георгиевскими кавалерами, щеголяли отданием чести и дисциплиной и готовы были в любую секунду, без рассуждения и комитетов, применить оружие по приказу командира.

Правда, на фоне уныния, бывали и радостные минуты. 525-ый полк, к которому мы были прикомандированы и который разложился меньше других, прислал нам как то такое обращение:

«Боевой адрес женщинам-героям.

«К вам, героини отряда смерти Бочкаревой, обращает свой взор Курюк-Дарьинский полк. Имена ваши молитвенно красуются на устах всего полка. Вы гордо и смело смотрели в глаза смерти. Вы стойко держали позицию, не давая противнику прорваться и занять наши окопы. Вы удерживали малодушных, ободряли храбрых, пополняли резервы патронов, перенося их под убийственным огнем неприятеля. Ваша кровь пролита в Ново-Спасском лесу и слилась с кровью наших героев.

«Полковая история никогда не забудет вашего подвига, которому нет равных со времени Крестовых Походов. Полк ждет и надеется, что вы и в будущем будете украшать своим присутствием ряды Курюк-Дарьинцев.

«Спасибо за дружную работу, товарищи!

«Председатель полкового комитета Крутиков; секретарь Иванов».

Такое, не очень грамотное, и искреннее обращение, такой «боевой адрес», конечно, радовал сердце. Их, таких слов, было не мало произнесено в нашу честь. Но, увы, это мало меняло положение. Так или иначе, было очевидно, что наше существование «бельмо на глазу» у большевиков и скоро вопрос станет круто — или мы, или они. Или честные русские солдаты, или масса распропагандированных большевиками дезертиров...

Так шли дни тягостного ожидания и, наконец, мы дождались чего то решительного.

Вести, которые привезла Бочкарева из своей очередной поездки, были угрожающими. Готовился решительный поход против нас, за наше разоружение, а мы все понимали женским инстинктом, что для нас, женщин, такое «разоружение» обозначает нечто более худшее. Пользуясь своим влиянием, Бочкарева затребовала от военного министерства наганы для каждой из своих солдат — для защиты не против неприятеля, а против своих же соседей, если дело дойдет до насилий. И, как ни странно теперь вспомнить, эти револьверы очень нас успокоили. Они сейчас же стали как бы неотъемлемой частью каждой из нас, и злые взгляды и грязные намеки разложенной солдатни перестали быть такими страшными. Ведь после выпущенных шести пуль всегда оставалась одна, последняя, для себя самой, чтобы не стать потехой разнузданной пьяной толпы...

Шли дни; мы изнывали в бездействии и не знали, что будет дальше.

Положение же все ухудшалось и, наконец, нам тайком доставили точные сведения, что на завтра против нас назначена целая карательная экспедиция. Мы, якобы, не подчиняемся приказам военного министерства об образовании комитетов. Иначе выражаясь, выходило что мы бунтовщики. Это мы то нарушители дисциплины?! Но делать было нечего. Сведения, доставлялись солдатами из соседних полков; Муся наладила регулярное получение такой информации за бутылку водки. Поэтому мы всегда были в курсе событий, происходящих сбоку от нас.

Последние новости были очень плохими. Из Питера уже прибыли агитаторы-большевики, и готовился поход, чтобы с нами покончить «на корню»...

Поздно вечером собрали мы военный совет; вызвали даже из других частей наших четырех офицеров, бывших с нами в боях (двое из них было убито). Говорить много было не о чем. Не могли же мы сопротивляться в окопах наступлению на нас наших же русских озлобленных солдат? Нужно было уходить. И без того мы запоздали выполнить совет генерала Валуева — ликвидировать самостоятельно наш батальон. Но как уходить и куда? Прорываться с оружием в тыл, в Петроград? Это означало бои со своими же. Наше продвижение назовут сейчас же «вспышкой новой гидры контр-революции» и выставят против нас артиллерию, пулеметы и массу сбольшевизированных солдат...

Очевидно было, что нам нужно самим расформироваться и уходить тайно. Господи, после стольких усилий, после таких подвигов и жертв, такой бесславный конец! Но... делать нечего.

В последний раз, уже в сумерках, чтобы не привлекать ничьего внимания, выстроились мы всем батальоном полностью. Ох, как поредели наши ряды! Бочкарева хотела что то сказать, но спазмы сдавили ее горло, а она не была человеком, легко поддающимся волнению. Наши четверо офицеров стояли молча, сжав зубы и я заметила, как на щеках у капитана Тарасова перекатывались судороги.

Только Муся оказалась а высоте положения и отгадала наши мысли. Внезапно, не спрашивая разрешения Бочкаревой, она вышла вперед с ясным открытым лицом и блестящими глазами. Медленно провела она взором по смирно стоящим рядам и тихо, внятно скомандовала:

— Сестры... Родные... Слушай мою команду... Нашей любимой Родине... слушай.. НА КРАУЛ!..

Мы все словно ждали этой команды. Звякнуло оружие и почти полтысячи штыков ответной стеной поднялось перед взволнованными лицами. Многие из этих штыков дрожали... что уж греха таить. Многие не скрывали слез, медленно катившихся по искаженным болью лицам... Эх, легче не писать про это...

Поздно вечером, уже в темноте, бережно сложили мы винтовки под навесом, прикрыли их брезентом и с одними наганами группами потянулись в тыл. Уйти было легко; нигде не было никаких постов и никакой охраны. Километрах в шести, недалеко от Молодечно, был довольно большой лес, куда мы все и собрались. Энергичный Тарасов со своими товарищами сейчас же наладил в соседних деревнях обмен военного обмундирования на женскую крестьянскую одежду. Мена была так выгодна, что крестьянки охотно набрали для нас всякого старого рванья — выбора не было. Каждая группа, уже переодевшись, подходила к опушке леса и там молча выполняла последнюю церемонию. Каждая становилась на колени, целовала край нашего знамени, пожимала руку Бочкаревой и исчезала в темноте. Многим Бочкарева сурово говорила, что еще, может быть, придется стать в строй. Нет нужды писать, что мы все были готовы сделать это в любой момент. Самой старшей из нас, врачу Кузьменко, — она потеряла руку в бою и могла легче всех сойти за простую бабу, — было поручено снятое с древка знамя. Мне так хочется верить, что оно не пропало, а где то там, в России, ждет нас, оставшихся в живых из славного женского батальона смерти*). Дождется ли?

Сама Бочкарева ушла из лесу последней, не переодеваясь, так как она была, во всех своих регалиях и с наганом на боку. Она пришла в Молодечно и на глазах остолбеневших солдат, не скрываясь, с мрачно-решительным лицом села в поезд и уехала в Москву. Никто ее не тронул! Как ни говори — смелым Бог владеет!...

Так умер женский батальон смерти...

---

*) В 1944 году Магдалина Скрыдлова уехала, а Нина Крылова была депортирована из Бельгии в Германию, и с тех пор от них не было никаких сведений. Были слухи, что обе убиты во время воздушных бомбардировок.

Примечание Солоневича. 1948 год.

ГЛАВА 13.

АГОНИЯ РОССИИ

Мама была чрезвычайно рада моему окончательному возвращению. Она, видимо, была дезориентирована. Раньше для нее все представлялось ясным, ровным, обеспеченным. А теперь?...

Целый вечер после моего бесславного возвращения рассказывала я мамочке свои приключения и переживания и была очень растрогана, когда она на прощание перекрестила меня...

Бедная мамулечка! Где и как в одиночестве, в голодном и холодном Петрограде, умерла ты? Неужели не было дружеской любящей руки и сердца около тебя в последий час жизни? Кто и где похоронил тебя? Кто помолился над твоей могилой?... Эх!...

Так чувствую я теперь. А тогда, когда мне было «восемнадцать с очень милым малым гаком», (как шутил Жора), мне было не до таких печальных мыслей. Жизнь кипела и во мне и около меня. После всего пережитого я чувствовала себя совсем взрослой, а мужские поцелуи еще больше подняли мое самоуважение. Нужно сказать, что Жора для меня был чем то средним между братом и женихом. Просто этакий «свой собственный мужчина». Милый, родной, привычный. «Моя собственность»...

Но хотя я и чувствовала себя этакой «взрослой», офицером, героем, женщиной, которую любят и которая достойна

любви, на самом деле я оставалась только молоденькой девушкой. Я не знала, как отнестись к происходящим событиям и что мне лично, собственно, делать. Да и вряд ли вообще, кто либо это знал, кроме большевиков, которые твердо шли к намеченной цели — разрушить все старое и устаиовить свое новое. Но как потом оказалось, они и сами не понимали, что именно НОВОЕ и как будут они это новое устанавливать. А пока что оказывалось, что разрушить было куда легче. Это, как сказал мне пожилой рабочий:

— Наш брат, пролетарий, сломать какой паровоз может с полной легкостью. А вот ПОСТРОИТЬ новый паровоз — на это ему мозгов не хватит...

Бочкарева, с которой у меня оставалась близкая связь, вернувшись в столицу, стала вращаться среди «высших сфер». В это время, хотя и с роковым опозданием, начали организовываться в России и другие женские батальоны. Керенский разрешил женщинам поступать в юнкерские училища, но все это было как то несерьезно, не было во всем этом горения и надежды на успех. Болезнь России прогрессировала так катастрофически, что никто не надеялся на ее спасение...

Я прямо не находила себе места — такое было желание что-то сделать. И было неизвестно, что именно. Все мои родные и Жора в том числе — были на фронте; мамочка была в «жгучем пессимизме», словно чуяла, что скоро «конец». Муся жила в Москве. Леля уехала куда то на юг с тетей. Бочкарева исчезла с горизонта; никакой связи между нами, старыми «легионерками», еще не было налажено — да и до того ли было? ...

И я не знала, что я, собственно, такое — «женщина-офицер» или просто «женщина»... Деньги были, сил хоть отбавляй, здоровье, как говориться, «бушевало в груди», но все это было как то вхолостую, «не при чем». Я пыталась носить свою форму офицера, но увидела, что это только удивляет всех и вызывает какую то странную досаду, словно ПОСЛЕ сыгранной пьесы актер продолжает носить свой грим и костюм. Да и потом офицерская форма очень мешала беспрепятственно бродить по Питеру и вслушиваться в лихорадочное биение его сердца.

А Петроград был близок к судорогам. Советы приобретали все большее значение, а в Советах — большевики. Ле-

нин давно уже, кажется, в 1903 году, на каком-то съезде партии, потребовал, чтобы от члена партии требовалось БОЛЬШЕ, чем только уплата членских взносов и признание программы партии. От каждого члена партии требуется АКТИВНОЕ участие в революционной борьбе. Этот принцип, после длительной борьбы, собрал большинство голосов (отсюда название партии — большевицкая). Этот принцип — меньше, но крепче — оправдывался теперь во всю. Моральные качества этих «крепких» не взвешивались. Ленин откровенно говорил, что 90 % его партии состоит из мерзавцев. «Но, — прибавлял он цинично, — иной мерзавец тем именно и ценен, что он мерзавец.» Небольшая, спаянная железной дисциплиной группа таких «мерзавцев», людей без веры, чести, морали, стыда, зная точно, что именно в хаосе событий ей нужно, постепенно брала вожжи управления и симпатии дезориентированных масс в свои руки. Практически уже ВСЕ происходило по их желанию. Война кончилась. Фронт разваливался с ужасающей быстротой. Крестьяне и дезертиры-солдаты самовольно делили помещичью землю и заодно грабили все, что можно было. А порой и яростно жгли все в приступах анархии. Не сказал разве Ленин — «грабь награбленное» и «все позволено»?... Окраины не слушались центра, а в центре собственно НЕКОГО было слушать. Керенский был похож на больного истеричного человека, отчаявшегося в своих лучших надеждах и усилиях.

Генерал Корнилов, с лучшими русскими боевыми генералами, был посажен в тюрьму. Только через несколько месяцев он бежал из прифронтовой тюрьмы к казакам, чтобы начать там вооруженную борьбу с большевиками, гражданскую войну, продолжавшуюся три с половиной года. Не надо думать, что Россия сдалась Ленину без кровавой и длительной борьбы!..

Но пока на русском горизонте не было ни одной светлой точки.

Так подошел октябрь 1917 года. Напряжение все росло. Всем было смертельно тягостно все время только ждать. Хотелось, чтобы «все это» так или иначе кончилось, как длительная и мучительная агония любимого человека. Хотелось грозы, после которой могло бы быть, наконец, ясно, что, в

конце концов, будет дальше. Так дальше жить, казалось, невозможно.

Наконец (мы узнали это потом), на очень бурном заседании военно-революционного комитета большевиков, Ленин дал сигнал к вооруженному восстанию против временного правительства и к овладению властью.

— Если это и авантюра, то, во всяком случае, в масштабе всемирной истории, — цинично заявил он.

Что ему была русская кровь и Россия?..

Я теперь вспоминаю, как неумела и рискована была эта попытка и как легко было ее тогда подавить, если бы во главе правительства стоял энергичный человек или вообще нашлись люди, не боящиеся крови, когда это нужно сделать. Папа рассказывал мне, что во время рабочих волнений 1905 года одно вооруженное восстание было отменено только потому, что энергичный генерал Трепов расклеил накануне восстания свой приказ по войскам округа с краткой знаменитой фразой: «патронов не жалеть»... И все прошло спокойно...

Но по роковому для России стечению обстоятельств, в этот период, у нас не нашлось сильных людей — «политических хирургов». 24 октября Петроград был уже на военном положении. Все бастовало. На улицах шли какие-то мелкие перестрелки. Газеты не вышли. Трамваи ходили с перерывами. Телефоны не работали. Части петроградского гарнизона, которым давно уже грозило отправление на фронт и которых от этой перспективы спасали большевики, готовы были их поддержать силой.

Как полагается во время военного положения, комендант Петрограда полковник Полковников издал приказ всем офицерам явиться в комендатуру. Этот приказ был расклеен по улицам и по зарегистрированным адресам были посланы извещения.

Я нежно поцеловала свою мамочку, оделась по военному, с дрогнувшим сердцем привесила сбоку тяжелый наган и пошла «выполнять свою офицерский долг». Какой долг и что именно должна я была делать — было неясно. Но во мне уже укоренилась привычка к подчинению. Буду делать. что прикажут...

Как я была обрадована, когда в комендатуре, среди сотен офицеров, неожиданно встретила... Жору! Он только что

приехал в Питер и прямо с вокзала пришел в комендатуру; он тоже был человек долга. Помню, мне почему-то тогда страшно хотелось его расцеловать, но, конечно, об этом нечего было и думать: мы были теперь не Ниночкой и Жоренькой, а русскими офицерами, призванными на помощь в тяжелом положении. Но, кажется, Жора понял мое желание, лукаво и мягко улыбнулся и... нежно поцеловал меня глазами. Я поняла этот чудесный поцелуй и отвернулась, чтобы скрыть краску на лице. Он тоже покраснел. Господи, до чего эта секундная пантомима была приятна! И как это мужчины не понимают, что такие вот секунды часто дороже «ночей страсти»? Но, что вообще понимают мужчины в женском сердце? Впрочем, это и лучше, что они не понимают его, иначе мы были бы совсем бессильны...

В комендатуре было, конечно, не до лирики. Никто не знал, что, собственно, происходит и для чего мы можем понадобиться. Однако, когда через несколько часов во двор комендатуры прибыл грузовик с винтовками, пулеметами и патронами — мы все поняли, что в воздухе пахнет порохом...

Какой-то бравый капитан быстро рассчитал нас на группы (мы с Жорой оказались, конечно, вместе), распорядился снабдить оружием и стал делать назначения: на центральную почту, телеграф, государственный банк, вокзалы, арсенал, дворцы — Зимний, Аничков, Таврический и другие.

— Господа, — строго и сурово сказал он нам на прощанье, когда все мы, до 400 офицеров, группами, с винтовками у ноги, как простые солдаты, ждали приказаний. — Господа! Я, к сожалению, ничего не могу сказать вам точно и ясно, что именно происходит и что именно вы должны делать. Мы обязаны поддерживать Временное Правительство, — единственную законную власть в России, — и охранять порядок в городе. Никаких инструкций я сам ни откуда не имею и вам дать не могу. Я просто полагаюсь на ваше чувство долга русского офицера. Это и очень мало и очень много... Ну, с Богом, господа офицеры.

Мы все опять стали смирно и почувствовали, что пускаемся в какое-то опасное плавание без компаса и без карты...

Как это ни странно, в своей группе я оказалась старшей. Было еще два поручика, но без ордена Св. Георгия. И пришлось мне, бедной девочке, автоматически, по уставу, принять командование над мужчинами, отправлявшимися на

ставшую исторической защиту Зимнего Дворца. Конечно, я могла бы передать командование в другие руки, но, заметив несколько улыбок, правда, не очень насмешливых, а дружеских, я почувствовала укол самолюбия. Как так? Может быть, в последний раз в жизни я одела офицерскую форму и буду сразу же отступать перед мужчинами? Да, никогда! Я не Ниночка Крылова, а поручик Русской Армии!..

И я так резко оборвала какого-то вольноопределяющегося, который, без моего разрешения, пытался закурить, что мне самой стало смешно. Но все переглянулись между собой и, как я потом почувствовала, молчаливо признали за мной право старшего. Я спокойно и точно скомандовала нужные перестроения и, с большой внутренней радостью, почувствовала, что в глазах моей маленькой группы перестала быть смешной женщиной-офицерам, а стала полноправным и старшим членом крохотной военной семьи, с винтовками шедшей в неизвестность...

Хорошим шагом, с заряженными по боевому винтовками, прошли мы по Невскому на дворцовую площадь. Был серый, туманный, типично октябрьский, питерский день. Улицы были пустынны. Вдали изредка показывались и сворачивали в сторону какие-то рабочие патрули — люди в кепках, штатских пальто и с винтовками. Да, революция была в воздухе...

У ворот и у всех входов в Зимний дворец, — раньше резиденцию Императора, — делалась работа, которая яснее всего показала нам, что положение уже безнадежно — там строились баррикады для защиты дворца. В столице страны, у ее сердца, Зимнего Дворца, для защиты ее Временного Правительства от какого-то там внутреннего врага, готовили нечто вроде окопов! Да Россия была смертельно больна...

Через несколько минут мы прошли во двор и там к нам вышел комендант дворца, усталый нервный, полковник, видимо, обалделый от забот и тревог.

— Господин полковник, — подошла я к нему с рапортом. — Группа офицеров и вольноопределяющихся прибыла из комендатуры в ваше распоряжение. 19 человек. Все с винтовками. Имеем по 60 патронов на человека.

— Хорошо, поручик, спасибо, — рассеянно сказал он. — 19 человек, говорите вы?

— Так точно, господин полковник.

Звук моего голоса удивил его. Он присмотрелся ко мне внимательнее усмехнулся и коротко спросил:

— Бочкаревой?

— Так точно, господин полковник. Поручик Крылова, командир роты женского батальона смерти капитана Бочкаревой.

— Та-а-а-к. Спасибо еще раз, поручик. Сдайте команду старшему по чину в вашей группе, а сами примите команду над вашими женщинами.

— Как, они здесь есть?

— Как же. Больше 30 человек!

— Благодарю вас, господин полковник, — радостно вырвалось у меня.

Тот удивленно поднял брови.

— За что?

— За радостное известие. Я всегда была уверена, что наши солдаты будут в первых рядах там, где того требует долг перед страной.*)

Услышав мое восторженное восклицание, полковник сделался угрюмым. Его взгляд, на несколько секунд, остановился на моем радостно взволнованном лице. Что-то, похожее на жалость, мелькнуло в его глазах. Желваки на скулах дрогнули.

А вы, поручик, так уж уверены, что действительно Россия этого требует? — тихо спросил он, но потом заметив мой недоумевающий взгляд, тряхнул головой, как бы отгоняя свои мысли. — Ну, хорошо Еще раз спасибо. Ваши женщины находятся в правом крыле дворца. Примите команду, приведите в боевую готовность и явитесь ко мне с докладом.

— Слушаюсь!

---

*) Между прочим, впоследствии ,Главнокомандующий Русской армией генерал Брусилов писал про нас:

«Дальнейшее поведение моих девиц принадлежит истории. Их блестящее поведение на фронте, возвращение в Петроград, стойкая защита Временного Правительства и Зимнего Дворца против большевиков и мученическая судьба в руках озверелых солдат, все это служит блестящим доказательством того высокого патриотизма и правильно понятого чувства долга, которыми, к сожалению, немногие могли похвастаться в то время.»

ГЛАВА 14.

ПОСЛЕДНИЕ ПУЛИ ЖЕНСКОГО БАТАЛЬОНА

Среди 80 женщин нашего батальона почти треть были моей роты, то есть совсем родные. Оне все были счастливы меня видеть и некоторые бросились даже меня обнимать. Пришлось сурово их остановить, указав, что мы на фронте и никакие «лизания» здесь недопустимы.

Оружия во дворце, как оказалось, было достаточно. Мы подобрали недостававшие винтовки, подсумки набили патронами. Трое, явившихся во дворец в женском платье, нашли себе шинели и скрыли под ними свое женское обличье.

Назначив старших, я пошла разыскивать коменданта. Нашла его в приемной большого зала, где, как оказалось, заседало Временное Правительство, отрезанное и от страны и от известий в стране.

Как я уже говорила, городской телефон не работал, провода военной связи тоже были кем то перерезаны. Никто ничего путем не знал; питались слухами от случайно прорывавшихся к нам «свежих людей».

Керенский носился по дворцу и уговаривал стоять на страже законной власти против бунтовщиков. Чудак-человек. Ведь сам он подрубил сок, на котором сидел — здоровые элементы страны. Позволил своей слабостью разлиться по России злу и затопить все то лучшее, что всегда было в рус-

ском народе — его государственный инстинкт. В русской душе всегда жила, одновременно и парадоксально с государственным инстинктом, этакая готовность к бунту. Керенский потакал опасным инстинктам, позволил пламени разбушеваться и, в итоге, сузил свою Империю до масштабов Зимнего Дворца.

Эта его «Империя» была теперь наполнена сотнями людей военных и штатских. Правда, было больше военных. Как потом писали, во дворце насчитывалось до 600 «штыков». Но беда то была в том, что никто толком не знал, что эти «штыки» должны, собственно, делать. Ведь было ясно, что несколько сот человек не могут стать «оплотом» Временного Правительства. Никто ничего не знал и никто не мог ничем командовать. Министры заседали «сплошь», как тогда говорили. Остальные просто-на-просто ждали каких то событий, чувствуя себя словно на необитаемом острове. Питание было налажено хорошо. Из подвалов дворца даже появились прекрасные вина. Были распределены комнаты для спания. конечно на полу. Мы, военные, имели своих командиров и ждали приказаний. Но штатская публика была близка к какой то истерике. Все шумели, спорили, дискуссировали, обменивались невероятнейшими предположениями и... ждали. То говорили, что с фронта спешат боевые части на помощь Временному Правительству, и что здесь, в Петрограде, восстание идет на убыль, то, наоборот, что мы обречены и всякое сопротивление бесполезно.

Я постаралась изолировать от этих треволнений свою маленькую группу, получившую скромную боевую задачу — оборонять один из маленьких входов во дворец. Мои девчата были счастливы этой практической задачей. Так хотелось «что то делать». Уже через несколько часов, перед «нашими» дверями, вырос этакий маленький бастион — балки, кирпичи, мешки с песком и прочая дребедень, могущая хоть несколько сопротивляться ружейным пулям. Я распределелила свой взвод на дежурства, назначила страших, и военная частичка моей совести успокоилась; все, что я должна была сделать, как офицер, было сделано.

Но тот кусочек совести, который назывался гражданским, был в полном смятении: как это так могло случиться, что Временное Правительство, которому я присягала, законная российская власть, принуждена просить военной помощи, в

своей же столице, от простых солдат и даже женщин? Это никак не укладывалось в моем сознании, но вскоре я убедилась, что даже более старшие и умные головы не могут решить этой головоломки и просто-на-просто решила откинуть эти сомнения и недоумения и заняться третьим кусочком моей совести — женским — пойти поглядеть, как живет и что делает «мой Жоренька».

Он оказался начальником импровизированного пулеметного бастиона и надеялся «задать перцу» большевикам, если к нам сунутся...

День прошел спокойно и только к вечеру, как то совсем неожиданно, вокруг дворца началась стрельба и осколки стекол со звоном полетели на пол. Последний акт русской трагедии начался.

Мы ответили несколькими дружными залпами в ту сторону, откуда мелькнули разрозненные огоньки выстрелов и все опять замолчало. Но все ясно почувствовали, что «так» мирно все это не может кончиться. Уж если по правительству в его дворце, в его столице начинают палить из винтовок его же верноподданные граждане, добром это кончиться никак не может!

К ночи перестрелка опять возобновилась и был дан приказ потушить свет. Только в одном из залов, где были плотные занавески, по прежнему, сидя на полу, чтобы не быть подстреленными шальными пулями, бесконечно заседало бессильное и тонущее правительство.

В момент, когда был дан приказ потушить свет, мы с Жорой, будучи свободными от строя (тут прибежать на свой боевой пост было делом буквально одной-двух минут), осматривали дворец, с любопытством бродили по залам, комнатам и даже закоулкам и чердакам. Когда свет потух, мы очутились в нелепом положении: не так легко найти правильный путь в темноте к нашим постам. Истратив несколько спичек, Жора вдруг решительно засунул их в карман и в темноте крепко обнял меня.

— Да что ты, Жора! — стала я рваться из его рук. — Да мы ведь на фронте! Пусти же...

Горячее дыхание жгло мне шею.

— Нету здесь никакого фронта, — шептал он мне на ухо. — Здесь только Жорик с милой своей девочкой Ниночкой. Я люблю тебя, моя родненькая, моя славная, моя желанная...

Его поцелуи сыпались на моё лицо, глаза, губы. Фуражка свалилась на пол, шинель растегнулась, наган как то нелепо сполз на сторону. А Жора ничего не замечал и все шептал сумасшедшие, но такие чудесно-горячие слова о своей любви и от него веяло жаром искреннего, сильного мужского желания.

— Маленькая моя... Светик... Я хочу тебя. Может быть, утром мы оба будем убиты, расстреляны, но теперь ты моя! Я тебя не отдам теперь никому, даже самой смерти. Я не пущу тебя на смерть — «так»... Ты будешь моей женой перед Богом... Я люблю тебя...

Я не могу описать этих чудесных минут любовного опьянения, моей нерешительности, моей сдачи... И теперь, вот, оглядываясь на прошлое, я ни капельки не раскаиваюсь, что в ту ночь я «пожалела» своего Жореньку. Мне «это» тогда было не важно и не нужно. Но ему я сделала царский подарок в царском дворце под выстрелы красных. Я тогда отдала ему самое дорогое, что есть у женщины — первое искреннее объятие, первый настоящий поцелуй девичьего сердца и девичьих губ. И, может быть, именно этот дар — именно дар, так как я не ломалась и, поняв зов его сердца, не сопротивлялась его рукам — так крепко привязал ко мне сердце молодого офицера

Утром стрельба вспыхивала опять и опять с новой силой. Пули, без перерыва, барабанили по стенам и влетали в окна. Уже несколько раз трещали наши пулеметы.

С точки зрения пехотной мы были почти неприступны. Наши пулеметы и винтовки покрывали всю громадную Дворцовую площадь и все подступы к дворцу. Кое где уже лежали трупы неосторожных сторонников Ленина, подвернувшихся под меткие офицерские пули. Было ясно, если начнется фронтальная атака, то мы уложим на этой пустой площади сотни трупов и остановим любой напор.

Памятное 25 октября. Как мы потом узнали, сопротивление маленьких групп сторонников Временного Правительства было сломлено уже во всем городе. Держался только последний оплот законной власти — Зимний Дворец. А, между тем, серая, громада крейсера «Аврора» уже подползала со стороны Финского залива к Николаевскому мосту. Крейсер хотел было даже подойти к самому дворцу, но его не пропустил Николаевский мост. И вот, тогда, вечером руский крейсер стал стрелять с расстояния 2 километров в русской столице, русскими снарядами, по русскому дворцу и русским людям. Выстрели эти

сделались историческими...

Когда раздались первые разрывы, все военные сразу поняли, что все пропало. Не только потому, что крейсер разобьет весь дворец издалека, но и потому, что если такие выстрелы были возможны вообще, это означало, что всякое сопротивление абсолютно бесполезно. Именно это ощущение обреченности было причиной того, что большевики заняли дворец со сравнительно небольшими потерями...

Говорили, что еще прошлой ночью Керенский бежал, переодевшись в женское платье. Может быть, это и так, но нам было не до него. Мои женщины посылали залп за залпом в мелькавшие вдалеке неясные фигуры и уже отбили несколько приступов. Недалеко злобно лаял пулемет «моего» Жоры (когда я вспоминала о нем — горячая волна заливала мое сердце и щеки). Со всех сторон слышны были выстрелы — защитники дворца сердито огрызались на нападавших.

Но к вечеру (а в октябре в Питере темнеет часам к 5-6; да и погода была туманная и дождливая) на нас стали наваливаться со всех сторон. Общего командования не было, все оборонялись по способности и скоро волны нападавших начали заливать нас. Мы стреляли наудачу, ничего не видя ясно, а на нас со всех сторон, лился пулевой дождь и со всех сторон слышались крики «ура» нападавших. Мои женщины храбро и стойко выполняли свой долг; с раскаленными от выстрелов винтовками мы, как на ученьи, посылали в темноту залп за залпом. А потом пришел чей то приказ: отступить внутрь дворца. Там было почти так же темно: кое где только на полу горели керосиновые лампы и свечи.

Было суматошно и страшно. Оторвавшись от своего батальона, мы не знали, что делать. Выстрелы трещали не переставая, где то стонали раненые, штукатурка со стен и потолка сыпалась на пол со странным шумом. Когда я шла по указанному моему взводу направлению, на меня на-ходу наткнулся Жора. Его лицо было взволнованным и напряженным.

— Ты, Нина?

— Да... А как у тебя?

Не отвечая, он оттащил меня в темный корридор и стал стаскивать с меня шинель.

— Что это ты?

— Молчи, Ниночка... Тебе нужно уходить отсюда немедленно.

— Как так?

— Скоро сюда ворвутся большевики... Яростные, обозленные... Ведь сколько мы их набили — полная площадь. Наше сопротивление уже сломано. Тебе нужно уходить сейчас же....

— Как так — мне? А ты?

— Ну, мне что? Я мужчина. На самый худший случай расстреляют. А тебя...

— Что «меня»? — не сразу поняла я.

Жора бросил возиться с шинелью и с силой обнял меня. В его голосе звучало искреннее отчаяние:

— А тебя... Ты знаешь, что тебе грозит? Грязь, насилие... Еще вчера, быть может, мы умирали бы вместе, но сегодня я не могу.... Я не могу думать, что тебя перед смертью... Ты будешь...

Его дыхание прервалось, и он без слов, опять крепко обнял меня. Мне было больно, неудобно, но и радостно. Ах, если бы он мог меня обнять еще крепче и унести куда-нибудь подальше от этого ужаса! А я бы, в это время, уткнулась лицом в его грудь и не видела бы и не слышала ничего... Но потом гордость проснулась во мне и сделалось стыдно за «бабью слабость».

— Как могу я уйти, оставив тебя и своих солдат одних? Это ведь дезертирство и трусость...

— Больше, Нина, ничего сделать нельзя. Это как на корабле — «спасайся, кто может». Нужно уйти, чтобы не было лишних, совсем лишних жертв. Именно в этом теперь наш долг.

— Я не уйду.

— Не уйдешь? — Лицо Жоры потемнело и сделалось суровым. — Я тебе приказываю.

— Как так? По какому праву?

— По праву, — голос Жоры опять задрожал и вся моя гордость исчезла, так была я потрясена его волнением. — По праву мужа. Ты ведь... теперь... моя и должна остаться моей. Не достаться озверелой грязной толпе.... Уходи, моя любимая. Так я приказываю, прошу, умоляю...

Я не знаю, что на меня подействовало, слова или тон, но я растерянно подчинилась. Жора снял с меня гимнастерку, содрав погоны и надел на мои бедра в виде юбки. Ночную рубашку (мужскую, конечно, которая была на мне) он изме-

нил наподобие женской, подвернув рукава и устроив «декольтэ».

— Ну, вот теперь ты дворцовая кухарка. Так всем и говори. Не прорвашься в одни двери — иди в другие. Делай испуганный вид и плачь. Ну, с Богом!

Опять горячие, знакомые, милые и, почему-то, соленые (слезы?) губы прижались к моим; сильная рука толкнула меня в сторону, откуда уже доносился торжествующий рев толпы.

Пробираясь к дверям, я услышала крики.

— Робята, да тут бабы есть... Ей Бо, бабы! Вот лафа!..

— Тащи их на царскую постелю! Товарищи, организуй живую очередь по буржуйкам...

— Кто последний на брунетку фельдфебеля?..

Да, Жора был прав...

Я не могу сказать, каким чудом мне удалось ускользнуть из того ада, в который превратился Зимний Дворец в те страшные часы. Немногие вышли оттуда живыми. Из женщин, кажется, только я одна. Другие по большевицким реляциям были убиты при сопротивлении. «Сопротивлении?» ЧЕМУ?

В полутьме коридора, прижимаясь к стенам, чтобы не быть увлеченной льющимся во дворец людским потоком, я добралась, наконец, до выходной двери во двор. Там уже стояли двое часовых, — матросов из Кронштадта.

Один из них остановил меня:

— Ворочайсь, тетка. Никого не велено пропущатть.

— Да я, товарищи, своя, с кухни тутошней. Очень уж страшно оставаться здеся...

И откуда только такие артистические таланты взялись? У меня оказался натуральный, плаксивый бабий голос!...

— Все едино — заворачивай обратно.

— Да пропусти, товарищ! У меня дома девочка больная лежит. У без того два дня я отсюда выйти не могла. Офицерье не пущало. Неужто еще свои товарищи-пролетарии мучить будут?

— Брось, Ванька. Не замай, — миролюбиво сказал другой матрос. — Пропусти! Не видишь разве сам, какая она буржуйка? Свойская девка. А после потанцуем вместе, товарищок?

— А чего ж и нет? — задорно отозвалась я. — Вы с какого корабля?

— Мы то? Да с «Авроры». По дворцу только что пуляли... А как придешь на крейцер — спроси Митяева...

— Приду обязательно. Тут же в царском дворце пролетарскими ногами и потанцуем.. Заслужили, слава Богу!..

Но другой матрос упрямо стоял на своем:

— Не пропущу, — мрачно повторял он. — Приказ!

Вот тут-то мне и пригодилась школа Бочкаревой. Я действительно, искренно рассердилась на него, словно и, в самом деле, была обидевшейся кухаркой.

— Как так «не пропущу», чортов клешник? Что я тебе — офицерка или буржуйка какая выискалась? Не пропустишь? Ну, так и стреляй в спину рабочей бабе, так тебя и эдотак и перетак и навыворот...

Я выругалась с такой фронтовой сочностью, что даже бывалые матросы переглянулись и расхохотались. Разумеется, в спину мне никто не выстрелил и я вышла... Господи, до чего билось сердце!.. А во дворе еще раздавались выстрелы, стонали раненые, слышались женские крики и вопли. Во тьме октябрьской дождливой ночи, в фантастическом освещении свечей и ламп из окон, вся картина казалась чудовищным кошмаром...

Я выскочила на площадь и перекрестилась; но когда я бегом добралась до первого перекрестка улиц, мои ноги вдруг остановились сами собой. Совесть не заговорила, а прямо закричала во весь голос:

— Как ты могла уйти, оставив своего Жору и своих товарищей в этом проклятом месте? Почему не осталась, чтобы вместе жить, вместе страдать и умереть?..

Совесть кричала, словно она была смертельно ранена. Я уже было совсем повернулась, чтобы вернуться обратно, как вдруг последние выстрелы стихли. Сопротивление было кончено. Зимний Дворец последнего Императора, последняя цитадель сопротивления Временного Правительства, был полностью во власти Ленина.

Перевернулась еще одна окровавленная страница русской истории и открылась другая. Кто тогда знал, что эта страница, советская, будет залита еще более густыми струями русской крови?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и все, что я могла вспомнить про историю женского батальона смерти. Я знаю, что потом многие из наших солдат храбро сражались в рядах Добровольческих армий, но отдельных женских воинских частей уже больше не было. Героические 4-дневные бои под Молодечном остались единственным в истории мира примером участия женщин в войне, как отдельной части. И, как знать? Может быть, через десятки лет, эти бои будут овяны легендой и послужат опорным пунктом ширящейся борьбы женщин за свои права во всех областях жизни?...

Еще несколько слов про мою личную судьбу. После «воцарения» Ленина о папе никогда больше не было никаких известий. Лично я, опасаясь репрессий большевиков против офицеров, зимой 1917-18 года бежала в Финляндию, пережив более опасные моменты, чем в боях или в Зимнем Дворце. Жора был арестован в Зимнем Дворце и отправлен зачем-то в московскую тюрьму. Через несколько месяцев его, по какой-то счастливой случайности, освободили, и он бежал на юг, на Дон к генералу Корнилову. Уже много лет спустя, мы с ним встретились за-границей и пошли вместе, рука об руку, по жизненному пути. Там же, на этом пути, мы «нашли» нашего сынишку.

Я слышала, что Бочкарева живет в Америке и пользуется там большим авторитетом — первая в мире женщина-капитан. Может быть, еще доведется встретиться. Но где?

Неужели в России, Новой, Свободной России?... Господи! Дай нам всем счастье увидеть настоящую Россию!...

Ну вот и все, дорогие мои читатели и, особенно, читательницы. Я ведь предупреждала, какая я писательница? «Увлекательного военного романа» из моих записей, конечно, не вышло. Но вы теперь, по крайней мере, знаете хоть немного о том, как русский женский батальон пытался спасти свою Родину в страшном 1917 году. И я буду счастлива, если сердца моих читательниц почувствуют гордость при мысли о русских сестрах, не побоявшихся ни германских, ни большевицких штыков...

Я не жалею, что судьба провела меня через «ТЕ» страшные испытания. Если бы «ТО» время вернулось, я поступила бы так же. Если бы у меня была дочь и Родина ее позвала так же, как и нас в тот страшный «девятьсот проклятый год», я коротко сказала бы ей: — ИДИ!...

Судьба не дала нам радости победы. Пусть же эта моя небольшая книжка будет скромным цветком в венец славы русской женщины, в тяжелую годину Родины взявшейся за тяжелую винтовку...

КОНЕЦ

Брюссель, 1944 г.